

ОХОТНИКИ НА ВЕДЪМ



НИКОЛАЙ БОЛАТАЕВ

18+

Николай Болатаев

Охотники на ведьм

<https://litres.ru/74577628>

SelfPub; 2026

Аннотация

Земли Франконии охвачены страхом: голод толкает людей на отчаяние, а по городам ползут слухи о ведьмах и зловещем «злом хлебе». В этой атмосфере удушливой паранойи вершится правосудие, где человеческая жизнь стоит дешевле чернил, потраченных на приговор.

Ансельм Врейзер верил, что порядок и строгая буква закона — единственный способ удержать мир от хаоса. Убеждая себя в том, что жестокие решения диктуются высшей необходимостью, он методично превращается в винтик карательной машины. Однако появление решительной Лизбет и трещины в безупречной юридической системе заставляют Ансельма и судью Мельхиора Готтфрида взглянуть в глаза пугающей правде.

Когда за каждым процессуальным документом начинают отчетливо слышаться человеческие крики, героям предстоит сделать выбор: продолжать слепо служить системе или попытаться остаться людьми перед лицом надвигающейся тьмы.

Мздрая, мрачная и пронзительная драма о совести, конформизме и страшной цене мертвой буквы закона.

Содержание

Часть первая. Печать	4
Глава 1. Протокол	5
Глава 2. Признание	15
Глава 3. Мука	28
Глава 4. Арифметика	45
Глава 5. Четыре дня	57
Вторник	57
Среда	60
Четверг	64
Пятница, предрассветный час	68
Глава 6. Дым	71
Глава 7. Груз	82
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Николай Болатаев

Охотники на ведьм

Часть первая. Печать

Франкония, 1628 год

Глава 1. Протокол

Ансельм Врейзен просыпался за час до рассвета вот уже двадцать лет, и ни разу ему не понадобился для этого петух.

Он лежал с закрытыми глазами и слушал дом. Дом на Кузнечной улице был узкий и высокий, в три окна по фасаду, и жил своей тихой жизнью: потрескивали балки, остывая за ночь, шуршала под кровлей мышь, внизу, в очаге, оседала зола. Всё это он знал наизусть, как знают дыхание близкого человека. Не услышал бы он только одного, и от этого привык не слушать: скрипа половицы на втором этаже, за запертой дверью, где шесть лет назад стояла его кровать.

Спал он теперь внизу, в кресле у очага. Говорил себе, что так теплее.

Он встал, оделся в темноте, не зажигая свечи, и первым делом спустился к двери и проверил оба засова. Верхний был задвинут, нижний тоже. Он не помнил, как запирали их вчера, и никогда не помнил. Но проверял каждое утро, потому что есть вещи, которые человек делает не для того, чтобы знать, а для того, чтобы быть спокойным.

На улице было холодно и сыро. Ноябрь стоял в Франкони серый и плоский, без снега, с низкими тучами, которые цеплялись за шпиль церкви Святого Килиана. Ансельм поднял воротник и зашагал вниз по улице, к площади. Булыжник блестел от ночной росы.

Этот год был плохой. Все так говорили, и по-разному: одни поминали войну, другие налоги, третьи комету, которую видели в августе над рекой. Ансельм не был суеверным и причиной считал дождь. Лето выдалось мокрым с самого мая, рожь на полях чернела и полегала, и когда в сентябре её наконец убрали, зерно вышло щуплым, с какой-то странной примесью, которую пекари выбирали руками и ругались вполголоса. Хлеб в городе стал серым, тяжёлым и дорогим.

У пекарни на углу уже стояла очередь. Женщины с платками на головах, двое стариков, мальчик лет десяти с пустой корзиной. Ансельм прошёл мимо, не оглядываясь, но заметил, что на двери пекарни кто-то мелом нарисовал крест. Свежий, ещё не стёртый дождём. Таких крестов в городе за последние недели появилось много: на дверях домов, где умерли дети, на дверях домов, где боялись, что умрут, и, как поговаривали, на дверях тех, кого подозревали в чём-то. Никто не признавался, что рисует их, и никто не стирал.

На площади разгружали телегу. Двое рабочих стаскивали с неё длинные сосновые доски, складывали их у стены ратуши и переговаривались негромко, деловито, как люди, выполняющие обычную работу. Ансельм прошёл мимо них, глядя прямо перед собой. Он знал, для чего эти доски. Он знал это уже три дня, с тех пор как судья подписал приказ, хотя приговора ещё не существовало.

Он не спросил. Никто и не ждал, что он спросит.

Подвал ратуши начинался с лестницы в семнадцать ступеней, вытертых посередине до гладкой чашки. Ансельм спускался по ней двадцать лет и знал каждую выбоину. Внизу шёл короткий коридор, потом тяжёлая дубовая дверь, окованная железом, а за дверью была комната, в которой пахло сырой известью и старой соломой.

Комната была не страшной. Это удивляло всех, кто видел её впервые: ни крюков на стенах, ни цепей, ни жаровен, как рисуют на гравюрах. Просто низкий сводчатый подвал, побелённые стены, стол для судьи, маленький столик для писаря, табурет для допрашиваемого. В углу горела одна свеча, и её огонь дрожал не от сквозняка, а от того, как тихо дышали люди в комнате.

Чернила замёрзли ещё до рассвета. Ансельм держал чернильницу в ладонях и дышал на неё, пока пальцы не перестали неметь, а густая масса внутри не поддавалась перу. Он делал это каждое утро зимой. Ему казалось, что в этом есть что-то смешное: человек, который заведует чужими жизнями, согревает дыханием чернильницу.

В комнате были трое. Стражник у двери, молодой парень с Кузнечной улицы по имени Ханс, который стоял, прижавшись спиной к стене, и смотрел на носки своих сапог. Судья Готтфрид за столом. И четвёртая, на табурете у стены.

Агнес Керн дышала иначе, чем остальные. Её дыхание было мелким, как у птицы, которую долго держали в кулаке.

Ей было около шестидесяти. Невысокая, сухая, с узкими жилистыми руками, которые сейчас лежали на коленях, сцепленные так крепко, что побелели костяшки. Платок на голове сбился, и из-под него выбились седые пряди. Она не плакала. Ансельм заметил это ещё в первый день и почему-то запомнил: все плакали, а эта не плакала. Она смотрела на судью спокойно, внимательно, с каким-то почти профессиональным интересом, как смотрит повитуха на роженицу, когда решает, сколько ещё осталось.

— Пишите, — сказал судья Готтфрид.

Он не повышал голоса. Он никогда его не повышал. Мельхиор Готтфрид сидел за столом в чистом чёрном камзоле, сложив руки, и смотрел на повитуху так, как хороший лекарь смотрит на рану: без злости, с внимательным желанием добраться до причины. Ему было лет сорок пять. Гладко выбритое лицо, светлые глаза, волосы с проседью, подстриженные аккуратно, по-чиновничьи. На левой руке тонкое обручальное кольцо. В Франконию его прислали год назад из Вюрцбурга, и за это время он успел сделать то, чего до него не удавалось никому: привести городские дела в порядок. Протоколы стали точными, сроки соблюдались, гонорары выплачивались вовремя. Горожане, поначалу настороженные, к весне стали здороваться с ним на улице.

Ансельм обмакнул перо. *Anno Domini 1628, шестой день ноября. Допрос третий.*

— Агнес, — мягко сказал судья. — Мы с вами уже два

дня говорим о детях. О маленьком Йосте Вальтере, о дочери мельника, о близнецах Гросс. Вы принимали их всех. Вы держали их первыми. Правда?

— Я принимала многих, господин судья, — ответила она. Голос был сухой и хриплый. — Я принимала половину этого города. Вас в том числе, если память мне не изменяет.

Перо Ансельма остановилось. Он почувствовал, как в комнате что-то сместилось, едва заметно, как смещается груз на весах.

Ханс у двери перестал дышать. Готтфрид не улыбнулся, не нахмурился. Он только чуть склонил голову набок, как птица, услышавшая незнакомый звук.

— Запишите, что подсудимая уклоняется от ответа, — сказал он. И, не оборачиваясь к Ансельму, добавил: — Herr Vreisen, вы пишете слишком быстро. Будьте внимательны к словам. Когда она скажет «да», я хочу, чтобы это «да» стояло на бумаге чисто.

Когда она скажет. Не «если».

Ансельм опустил взгляд на лист. Рядом с чернильницей лежала печать: тяжёлый железный штемпель с деревянной рукоятью, потёртой ладонями трёх поколений писарей до тёмного блеска. От неё всегда слегка пахло воском и чужим потом. Клеймо на конце изображало весы, а под весами короткое *Iustitia*; по самому ободку шла мельчайшая надпись, которую он за двадцать лет так ни разу и не удосужился прочесть. Он вспомнил, что в день, когда получил её от преж-

него писаря, старик сказал: *«Она ничего не решает, мальчик. Она только подтверждает. Запомни это, и тебе будет легче спать»*.

Старика звали Фабиан. Он ослеп к семидесяти и до последнего дня приходил в ратушу, садился в углу и слушал, как скрипит перо Ансельма, и иногда говорил, не оборачиваясь: «Здесь ты поспешил». Он всегда угадывал.

Ему было легче спать. Двадцать лет.

Он написал: *Подсудимая уклоняется от ответа*. Буквы вышли ровные, аккуратные. Он всегда гордился своим почерком. В детстве отец, сапожник, бил его по рукам за кляксы, и к двенадцати годам он научился писать так, что кляксы не ставил вообще. Этим умением он потом зарабатывал на хлеб, на дом, на жену, на дочь. Если бы у него спросили, что он умеет в жизни, он ответил бы: записывать то, что говорят, точно.

За стеной, на площади, кто-то начал колотить молотом по дереву. Там строили помост.

Агнес тоже слышала. Ансельм заметил, как её голова чуть повернулась в ту сторону, всего на вершок, как поворачиваются на знакомый голос. Она ничего не сказала. Руки на коленях сцепились ещё крепче.

* * *

Допрос шёл до полудня. Ансельм записывал вопросы и ответы, и рука его двигалась сама, а мысли текли мимо, ни за что не цепляясь. Он думал о хлебе. О том, что надо зайти на

рынок. О том, что подошва на левом башмаке совсем протёрлась. Так он думал всегда, когда шли допросы: о мелочах, о бытовом, о том, что можно починить. Это помогало.

В полдень Готтфрид встал.

— На сегодня достаточно, — сказал он. — Подсудимая устала. Завтра продолжим.

Он собрал бумаги, коротко кивнул Ансельму и вышел. Стражники, Ханс и ещё один, подхватили Агнес под локти. Она шла между ними, как идут по ровной дороге, не хромя, не торопясь. У двери на секунду задержалась, повернула голову. Посмотрела на стол писаря, на чернильницу, на печать.

Потом её увели.

Ансельм остался один. В подвале стало очень тихо. Он сидел, глядя на лист, исписанный ровным почерком, и вдруг почувствовал, что не может пошевелиться. Не от усталости. От чего-то другого, чему он не знал названия: ладони взмокли, во рту пересохло, под рёбрами стояла тупая тяжесть.

Он достал из кармана кусок хлеба и съел его, не чувствуя вкуса. Хлеб был серый, с горчинкой. Он доел, стряхнул крошки с колен, вытер руки о штаны и принялся делать чистовую копию протокола. Копий полагалось две: одна в архив, другая судье. Это была его работа. Он сделал её до сумерек, ровно, без единой пометки, и когда закончил, понял, что не помнит ни одного слова из того, что переписал.

* * *

Домой он вернулся, когда стемнело, и, входя, привычно

проверил, заперта ли дверь на второй засов. Потом снял плащ, повесил его на гвоздь и только тогда позволил себе выдохнуть.

На кухне горел очаг. Лизбет сидела на низкой скамеечке и перебирала сушёные травы, раскладывая их по льняным мешочкам. Мята, тысячелистник, что-то серое и колючее, чего он не узнал. Она не подняла головы.

— Ты поздно.

— Работа.

— Я знаю, какая работа.

Он сел за стол. Хлеб был чёрствый, суп жидкий: в этом году всем приходилось затягивать пояса, даже тем, кто получал жалованье от города. Ансельм ел молча, глядя в миску, потому что смотреть на дочь в такие минуты было труднее, чем на подсудимых.

Лизбет было семнадцать. Она была похожа на мать: тот же упрямый подбородок, те же тёмные брови, которые сходились над переносицей, когда она злилась. Жена, Катарина, умерла шесть лет назад, в горячечную зиму, и с тех пор дом держался на привычке, а не на радости. Ансельм не мог бы сказать, когда именно перестал слышать её голос в комнатах. Сначала голос был везде, потом в отдельных углах, потом только в некоторых привычках Лизбет: в том, как она хмурилась, как поджимала губы, как говорила «я знаю» таким тоном, что возразить было невозможно.

— Все говорят, что это Агнес, — сказала Лизбет наконец.

Она по-прежнему смотрела на травы. — На рынке только об этом. Что она пила кровь у детей Гроссов. Что она ходила к ним по ночам.

— Не ходи на рынок.

— Папа.

— Лизбет.

Она подняла голову. В её глазах не было страха, и это испугало его сильнее, чем если бы был.

— Она принимала меня, — сказала она тихо. — Когда я родилась. Мама говорила, что если бы не Агнес, я бы не выжила. Пуповина обмоталась вокруг шеи. Она всё сделала руками, за минуту.

— Я знаю.

— Ты знаешь и всё равно пишешь.

Ансельм положил ложку. Очаг потрескивал. Где-то в глубине дома скрипнула половица, и оба на секунду замерли, будто кто-то мог их услышать.

Это была просто старая доска. Они оба это знали. Но Ансельм вдруг подумал: сколько раз в этом доме они замирали так, как будто кто-то стоит за дверью? Сколько раз он сам замирал, как человек, привыкший, что за ним наблюдают?

— Моя работа, — сказал он медленно, — записывать то, что говорят. Не решать, что правда.

— А если то, что говорят, не правда?

— Тогда это всё равно то, что сказано.

Он услышал собственный голос и не узнал его. Это была

фраза старого писаря, только переставленная, как мебель в чужом доме.

Лизбет встала. Мешочки с травами она сложила в передник, аккуратно, чтобы не рассыпать. Пошла к лестнице, но на нижней ступеньке остановилась.

— Она мне однажды сказала, — проговорила она уже не оборачиваясь, — что самое страшное в мире не злые люди, а те, кто уверен, что поступает правильно. Я тогда не поняла.

— А сейчас?

— Кажется, начинаю.

Она поднялась наверх. Ансельм слышал, как скрипят ступени, как хлопает дверь её комнаты, как шаги затихают за потолком. Потом стало совсем тихо.

Он остался сидеть один. На столе перед ним не было ни печати, ни пера, ни чернил: впервые за двадцать лет. Только миска с остывающим супом и свеча, которая оплывала медленно, капля за каплей, собираясь лужицей на деревянной подставке. Он смотрел на неё долго. Потом задул, хотя в очаге ещё тлели угли, и не стал вставать, пока не замёрзли пальцы.

Ощущение было такое, что дом стал на полшага теснее.

Глава 2. Признание

Утром выпал первый снег, и в подвале от этого стало не теплее, а тише. Звуки города глохли за толстыми стенами, и оставались только скрип пера, шаги стражника на лестнице и дыхание Агнес Керн.

Ансельм пришёл раньше обычного. Ему не спалось. Он лежал в кресле у остывающего очага и слушал, как за окном шуршит снег, и в какой-то момент понял, что ждёт не рассвета, а того, чтобы день поскорее кончился. Это была новая мысль, и она ему не понравилась. Двадцать лет он хотел, чтобы день длился дольше, чтобы успеть сделать всё аккуратно, а теперь считал часы.

В подвале уже горели две свечи, вторую зажёл Ханс. Парень стоял у двери с таким видом, будто не ночевал: глаза красные, лицо серое. Ансельм кивнул ему, сел за столик, выложил перья, достал чернильницу, согрел в ладонях. Печать поставил рядом, как всегда. Потом, подумав, отодвинул её чуть дальше. Сам не понял, зачем.

Агнес привели на рассвете. Ансельм заметил, что она хромотает на левую ногу, а вчера не хромала. Никто ничего не объяснил, и он не спросил.

Она села на табурет, медленно, придерживаясь за стену. Платок на ней был другой, более грязный, и под глазом темнело пятно, похожее на синяк, хотя при свете свечи Ансельм

не мог быть уверен. Она поймала его взгляд и чуть заметно покачала головой: не спрашивай. Он опустил глаза.

Готтфрид пришёл последним. Он стряхнул снег с плеч, повесил плащ на крюк и сел за стол, как садятся за обед, к которому давно готовились.

— Начнём, — сказал он. — Herr Vreisen, дата.

Седьмой день ноября. Допрос четвёртый. Перо шло ровно. Руки Ансельма всегда были спокойнее головы.

— Агнес, — начал судья. — Мы вчера остановились на Йосте Вальтере. Вы помните, что вы сказали?

— Я сказала, что мальчик родился слабым и что я предупреждала мать.

— Вы сказали, что предупреждали. Но мать показала иначе. Она сказала, что вы, уходя, коснулись его лба и что-то прошептали.

— Я читала «Отче наш», господин судья.

— Вы читали *что-то*.

Он произнёс это так спокойно, что Ансельм на секунду и сам поверил в сказанное: как будто женщина на табурете действительно скрывала слова, которые нельзя произносить вслух.

Дальше было то, что Ансельм потом много лет пытался вспомнить точно и не мог. Ничего громкого. Никто не кричал, никто не ударил. Готтфрид просто задавал одни и те же вопросы разными словами, а на второй день без сна и без еды это оказывается страшнее плети. Он менял порядок, воз-

вращался назад, цеплялся за оговорки. Спрашивал о дате и через полчаса спрашивал о ней же, только иначе. Если Агнес отвечала одинаково, он говорил: «Вы повторяете заученное». Если отвечала по-разному, говорил: «Вы путаетесь». Всегда спокойно, всегда с лёгким наклоном головы, словно искренне хотел помочь.

Агнес сначала отвечала твёрдо, потом медленнее, потом стала переспрашивать. Раз она назвала судью «отец мой» и тут же вздрогнула, поправилась. Ансельм видел, как это слово задело что-то в Готтфриде: на долю секунды тот замер, и в светлых глазах мелькнуло нечто, чего Ансельм не сумел назвать. Потом судья кивнул и продолжил, будто ничего не случилось.

Стражник у двери переступил с ноги на ногу. Он был молод и старался не смотреть. Ансельм заметил, что Ханс шевелит губами: то ли молится, то ли считает.

Свеча на столе оплыла. Снаружи, через узкое окно под потолком, пробивался серый утренний свет, и пылинки плавали в нём, медленные, равнодушные. Ансельм смотрел на них и писал. Вопрос. Ответ. Вопрос. Ответ. Он был хорошим писарём.

— Вы ходили к детям ночью, — сказал Готтфрид.

— Я ходила, когда звали.

— Вы ходили и тогда, когда не звали.

— Нет.

— Агнес. — Голос стал почти ласковым. — Вы устали.

Вам не нужно нести это одной. Скажите, что вы ходили, и мы сможем помочь вам.

— Я ходила, когда звали.

— Вас видели.

— Кто?

— Этого я вам не скажу.

Пауза. Свеча оплыла ещё, и на стену легла длинная тень от руки судьи, лежавшей на столе. Тень была огромной, и рядом с ней фигура Агнес казалась совсем маленькой, почти детской.

— Я так устала, — сказала она вдруг, тихо, не ему, а куда-то в пространство. — Я три дня не спала. Мне всё время кажется, что я слышу детский плач.

— Какой именно? — спросил Готтфрид, и в голосе его прозвучало лёгкое, профессиональное оживление.

— Обыкновенный. — Она потёрла лоб ладонью. — Я слышу его с тех пор, как ушла сюда. Мне кажется, что кто-то зовёт, а я не могу встать.

— Кто зовёт?

— Я не знаю. Я так устала, господин судья.

Ансельм писал. Он писал, не поднимая головы, и чувствовал, как холодеет что-то в груди. Он понимал, что сейчас произойдёт: как хороший игрок видит на три хода вперёд, он видел, как слова «я слышу плач» превратятся в «признала связь с младенцами», а потом в «признала зов из иного мира». Всё это было в пределах правил. Ни одного слова не

нужно было придумывать. Достаточно было правильно расставить.

— Может быть, — сказала Агнес очень тихо, — может быть, я и ходила. Я не помню.

— Вот, — сказал Готтфрид. Он не торжествовал, он просто кивнул, как кивает человек, дождавшийся, что вода закипит. — Herr Vreisen. Запишите: *подсудимая признаёт, что посещала дома младенцев в ночное время без приглашения.*

Ансельм поднял перо. И замер.

Он слышал каждое слово. Она сказала: «*Может быть, я и ходила. Я не помню*». Это не было «признаю». Это было «не помню». Разница в два слова, но между этими двумя словами умещалась вся жизнь женщины на табурете.

Готтфрид смотрел на него. Не торопил, не хмурился, просто ждал, и в этом ожидании было что-то куда более тяжёлое, чем приказ.

Ансельм подумал о Фабиане. О слепом старике в углу, который говорил: «Здесь ты поспешил». Старик ни разу не сказал: «Здесь ты солгал». Он всегда говорил только о скорости. И Ансельм вдруг понял, что за двадцать лет ни разу не задумался, почему. Возможно, потому что именно скорость и была ложью: успеть записать раньше, чем поймёшь, что пишешь.

Он опустил перо и написал.

Подсудимая говорит, что, возможно, посещала дома младенцев; твёрдо не помнит.

Он не поднял головы. Слышал, как судья встал и подошёл. Тень легла на бумагу. Готтфрид наклонился, прочитал, и Ансельм увидел его руку совсем близко: чистые ногти, тонкое обручальное кольцо, спокойные пальцы.

— Вы изменили формулировку, — сказал судья.

Не вопрос. Ансельм почувствовал, как пересохло во рту.

— Я записал точно, господин судья. Слово в слово.

Пауза длилась, пока в печи не треснуло полено.

— Разумеется, — сказал Готтфрид и выпрямился. — Вы всегда пишете точно. Оставьте как есть. Для этого раза этого достаточно.

Для этого раза.

Он вернулся на своё место. Допрос пошёл дальше, но Ансельм уже почти не слышал слов. Пальцы правой руки сжимали перо так, что побелели костяшки. Он посмотрел на печать, лежавшую у чернильницы, и вдруг понял, что впервые за двадцать лет не хочет к ней прикасаться.

Когда всё закончилось, Агнес увели. У двери она обернулась, и её взгляд на секунду встретился со взглядом Ансельма. Она ничего не сказала. Только слегка кивнула, едва заметно, как кивают человеку, который сделал что-то маленькое и очень опасное.

Он остался сидеть один. На листе высыхали чернила. Там, где стояло «твёрдо не помнит», буквы вышли чуть крупнее остальных.

Он думал, что остался один. Но на лестнице скрипнуло, и

в дверях появился Готтфрид: вернулся за перчатками, забытыми на столе. Судья не сразу заметил писаря. Постоял перед пустым табуретом, на котором только что сидела Агнес, долго, не двигаясь, и Ансельм видел, как большой палец его раз за разом проводит по обручальному кольцу, будто стирает с него пятно. Потом он почти беззвучно произнёс одно слово. Женское имя, наверное. Ансельм не расслышал. Увидев писаря, Готтфрид вернул лицо на место.

— Перчатки, — сказал он. — Благодарю вас, Herr Vreisen. Дальше я сам.

* * *

Лизбет не спала.

Она лежала в своей комнате на втором этаже, закутавшись в одеяло, и слушала дом. Отец вернулся поздно, прошёл на кухню, долго сидел там без свечи. Потом скрипнуло кресло, вздохнул очаг, и наступила тишина, которая в их доме значила больше, чем любые слова. Он не ужинал. Он не поднялся наверх. Он сидел внизу, один, и она знала, что если сейчас спустится, то не сможет ничего ему сказать.

Весь день она слышала на рынке то, что приносили с допросов. Обрывки. Кто-то рассказывал, что ведьма призналась, что слышала плач мёртвых детей. Кто-то, что нет, не призналась, но судья «почти дожал». Кто-то, что вообще всё решено и помост уже на площади. К вечеру слухи оплыли и перепутались, как воск. Лизбет слушала и ловила себя на том, что ищет в них одно: слова *твёрдо не помнит*. Их никто

не произносил. Она не знала, почему они ей важны, откуда она вообще знает, что они есть. Просто знала, как знаешь по сквозняку, что где-то открыта дверь.

Ближе к полуночи она встала.

Одевалась в темноте, на ощупь: тёмное шерстяное платье, платок, башмаки в руках. Сунула в рукав кусок хлеба, отломленный утром от своей доли, и глиняную фляжку с разбавленным вином. Вино было последнее в доме. Отец прятал его на случай болезни, но она знала, где.

На лестнице она задержалась на третьей ступеньке, той, что скрипела. Перешагнула. Спустилась. Внизу, в кресле у очага, темнела сгорбленная фигура. Отец спал, уронив голову на грудь, с гусиным пером в пальцах, будто уснул на середине фразы. Лизбет постояла, глядя на него. На седеющие пряди, на глубокие борозды у рта. Потом прошла в кухню, к задней двери, и вышла во двор, осторожно придержав засов, чтобы не стукнул.

Снег скрипел под ногами. Над крышами стояла луна, почти полная, белая, как тарелка.

* * *

Стражника звали Ханс, и ему было девятнадцать. Лизбет знала его с детства: он жил через два дома, а полгода назад его младшую сестру вытащила из горячки Агнес Керн, когда лекарь уже разводил руками. Мать Ханса потом неделю ходила по соседям и говорила, что надо поставить свечу. Свечу поставили, но не в церкви, а дома, у икон. Так решили,

чтобы не привлекать внимания.

Лизбет нашла его у конюшни, где он стоял с двумя другими стражниками у бочки с углями, курил и делал вид, что не слышит разговоров про ведьму. Она не стала ходить кругами. Подошла и сказала так тихо, что услышал только он:

— Мне нужно две минуты. Одна, без свидетелей.

Ханс побледнел, потом покраснел, потом посмотрел на свои сапоги.

— Меня повесят, — сказал он.

— Тебя не повесят. Ты будешь стоять на лестнице и смотреть в другую сторону. Ты уже целую неделю смотришь в другую сторону, я видела.

Это была правда. Она видела его на рынке, видела, как он отводит глаза от прохожих, как прячет руки. Он стал тонким, угловатым, будто постарел на несколько лет. Парень, который ещё в августе смеялся над шутками кузнеца, теперь боялся собственной тени.

Он молчал так долго, что она успела подумать, что проиграла. Потом сказал:

— После полуночи. Через боковую дверь. И ничего не бери с собой, обыскивать не буду, но если найдут...

— Ничего не возьму.

Она соврала, и оба это знали. Ханс отвернулся и затушил окурок о бочку.

— Твоя сестра жива, — тихо сказала Лизбет. — Мы не просим многого.

— Я знаю, — ответил он. — Поэтому и пускаю.

* * *

Камера оказалась меньше, чем она думала. Три шага в длину, два в ширину, солома на полу и узкое окно под потолком, в которое падал квадрат лунного света. Агнес сидела под ним, обхватив колени, и когда дверь тихо закрылась, не вздрогнула, только повернула голову.

— Лизбет Врейзен, — сказала она. — Я ждала тебя раньше.

— Откуда... — Лизбет осеклась. — Как вы узнали, что я приду?

— Твой отец вчера написал не то, что я сказала. Написал лучше. Я видела его руку. — Она чуть улыбнулась. — Люди, которые так пишут, всегда оставляют кого-то, кто придёт вместо них.

Лизбет опустилась рядом и протянула хлеб. Агнес взяла его двумя руками, как берут птенца. Ела медленно, будто каждый кусок надо было запомнить. Когда фляжка обошла круг, пальцы у неё перестали дрожать.

— Они заставят меня сказать, — проговорила Агнес. — Не сегодня, так через два дня. Я уже говорила больше, чем хотела. Не жалею меня, девочка. Я хочу, чтобы ты послушала.

— Я слушаю.

— Дети умерли не от меня. Ни один. — Голос стал сухим и ровным, голосом человека, много раз повторявшего одно

и то же самому себе. — Йост Вальтер, дочь мельника, близнецы Гросс. Все они ели хлеб из одной муки. Я видела эту муку. В ней были чёрные рожки, длинные, как ногти. Спорынья. Ею травятся, когда лето сырое, а зерно мокнет в поле. Взрослым от неё снятся кошмары и сводит руки. Младенцам хватает малой доли.

— Надо сказать судье!

— Я говорила. — Агнес чуть улыбнулась. — Он спросил, откуда я знаю, как выглядит отравленная мука. Я ответила, что я повитуха и всю жизнь смотрю, что едят матери. Он записал: *подсудимая обладает тайным знанием о ядах.*

Лизбет сжала кулаки.

— Значит, я скажу отцу. Он перепишет...

— Он ничего не перепишет. Он записывает то, что слышит, и он боится. Но ты можешь пойти к мельнику Дитриху, тому самому, что живёт у брода. Скажи, чтобы проверил свои мешки. Если у него в амбаре ещё осталась эта мука, детей будет больше. — Она помолчала. — Городу нужна ведьма, потому что иначе придётся признать, что виновата сырая погода и жадный мельник. Люди не любят такой ответ.

Лизбет кивнула. Горло стянуло. Она хотела сказать что-то ещё, но Агнес вдруг подалась вперёд и взяла её за запястье. Ладонь была ледяной.

— Теперь второе. Это не для судьи, и не про муку. Слушай точно.

— Хорошо.

— Скажи отцу: *она не сердится*.

Лизбет замерла.

— Кто?

— Ты знаешь, кто. Она сказала это той зимой, когда я держала её за руку. Она просила передать, и я не смогла. Твой отец тогда сидел в коридоре и не мог войти, а потом стало поздно. Скажи ему сейчас. Скажи, что она не сердится ни за что.

В камере стало душно: пахло соломой, мокрым камнем и чужим потом. Лизбет вспомнила зиму, когда ей было одиннадцать. Мать умерла ночью. Утром отец сидел на кухне, глядя в стол, и не говорил ни слова, целых три дня.

— Вы могли услышать это от кого угодно, — сказала она, и голос вышел тоньше, чем она хотела. — Об этом знали соседи, знал весь город...

— Знали, что она умерла. Не знали, что она сказала.

Лизбет не ответила. Ей хотелось возразить, назвать это ловкостью старой женщины, которая знает, что сказать перепуганной девочке. Хотелось так сильно, что она почти поверила в возражение. Но в глазах Агнес не было хитрости. В них была только усталая доброта, и от неё было страшнее, чем от любого колдовства.

За дверью тихо кашлянул Ханс. Время вышло.

Агнес отпустила её запястье.

— Иди. Не оглядывайся. И, Лизбет...

— Да?

— Когда всё это кончится, тебе придётся простить его. Не сразу, но придётся. Он не плохой человек. Он просто человек, который слишком долго слушал, как ему говорят, что бумага всегда права.

Лизбет вышла в коридор. Ханс не смотрел на неё. На лестнице она остановилась, прижавшись лбом к холодному камню, и простояла так, пока не перестали дрожать колени.

* * *

Обратно она шла медленно, по пустым улицам, где снег лежал нетронутым, и на нём, как на чистой странице, оставались только её следы. Впереди, за крышами, небо уже начинало сереть. Где-то в дальнем конце города закричал петух, один, потом другой.

Дома было темно. Она вошла через заднюю дверь, бесшумно затворила засов. Отец всё так же спал в кресле, не раздевшись, с пером в пальцах. Она хотела разбудить его и сказать. Потом посмотрела на его лицо, на серые пряди, на глубокие борозды у рта, и поняла, что не сможет. Пока не сможет.

Она накрыла его пледом. Ложиться не стала: переодела мокрые башмаки, выпила воды и до самого серого света простояла у окна, сжимая в кулаке шнурок с мешочком. А потом, ещё до рассвета, снова бесшумно вышла из дома и пошла к броду, к мельнику Дитриху.

Глава 3. Мука

Дитрих не спал. Лизбет поняла это ещё на подходе.

До брода было полчаса ходьбы, и она прошла их в почти полной темноте, держась края дороги, где снег был потоптан и не скрипел. За городской стеной стало светлее: поля лежали белые и ровные, как застывшее молоко, и только чёрная лента реки пересекала их пополам. Мельница стояла на этой ленте, как корабль на якоре, приземистая, с тёмным колесом и высокой крышей, засыпанной снегом до самого конька. В окошке над колесом горела лампа, и по воде шла жёлтая дорожка.

Колесо молчало: река начала схватываться льдом. Но изнутри доносился размеренный шорох жерновов, которые крутила не вода, а рука.

У двери стояли крошечные детские башмачки. Кто-то поставил их рядом с порогом, аккуратно, носками к стене, и не убрал. Лизбет посмотрела на них и почувствовала, что ей не хватает воздуха. Она несколько секунд стояла, собираясь с духом. Потом постучала.

Открыла женщина в чёрном платке. Лицо серое, глаза красные, но сухие, как у людей, которые уже выплакали всё, что могли.

— Я к господину Дитриху, — сказала Лизбет. — По важному делу.

— У нас траур.

— Я знаю. Поэтому и пришла.

Что-то в её голосе заставило женщину отступить. Дитриха она нашла в глубине мельницы, среди мешков, мукой припорошенного с головы до ног. Он был крупный, плечистый, с лицом человека, привыкшего, что мир слушается. Сейчас он стоял, упершись ладонями в жернов, и смотрел на белую пыль так, будто она могла его ударить.

— Врейзен, — сказал он, не оборачиваясь. — Дочка писаря. Что вам нужно?

Лизбет заранее придумала десяток вариантов, как подступиться. Ни один не годился. Она сказала прямо:

— Ваша мука. Агнес Керн говорит, что в ней есть чёрные рожки, длинные, как ногти. Это спорынья. От неё умирают младенцы.

Тишина стала такой плотной, что было слышно, как оседает пыль.

Потом Дитрих повернулся. Она никогда не видела, чтобы у человека так менялось лицо: не гнев, а что-то более старое и страшное.

— Моя Гретхен, — сказал он тихо, — умерла на третий день. От этой муки. Ты пришла и говоришь мне, что это моя мука?

— Я говорю, что другие семьи тоже покупали её. И что вы могли не знать.

— Убирайся.

— Господин Дитрих...

— *Убирайся!*

Он шагнул к ней, и Лизбет подумала, что сейчас ударит. Но он остановился в двух шагах, тяжело дыша, и вдруг оглянулся на мешки у стены. Один из них был вскрыт. Из прорехи высыпалась горсть зерна.

Он опустил на колени. Взял зёрнышко, другое. Поднёс лампу.

Среди светлых зёрен лежали чёрно-фиолетовые рожки. Не одно. Десятки.

Лизбет не стала ждать, чем это кончится. Она вышла, тихо притворив дверь, и на берегу услышала за спиной звук, который потом долго слышала во сне: глухой, задавленный стон человека, который только что понял, что убил собственную дочь.

Она дошла до поворота дороги и там остановилась, упёршись ладонью в ствол старой ивы. Её вырвало в снег. Потом она вытерла рот снегом же, выпрямилась и пошла дальше, к городу, не оглядываясь, с одной мыслью: *успеть домой до отца.*

* * *

Ансельм заметил всё утром, за завтраком, хотя, если бы его спросили, он бы не смог объяснить, что именно.

Лизбет пришла на кухню позже обычного. Волосы были стянуты небрежно. Подол платья потемнел от сырости, а на сапогах, поставленных сушиться у очага, налипла серая реч-

ная грязь. Она поймала его взгляд и так быстро отвернулась к горшку, что это само по себе было ответом.

— Ты выходила, — сказал он.

— За водой.

— До рассвета?

— Не спалось.

Он хотел спросить ещё. Он был писарём, он умел задавать вопросы так, чтобы ответы складывались в строчки. Но Лизбет стояла к нему спиной, и плечи у неё были напряжены как у человека, который несёт что-то тяжёлое и боится уронить.

— Будь осторожна, — сказал он наконец.

— Я всегда осторожна, папа.

Это была неправда, и оба это знали.

* * *

В ратуше был нехороший день. Ансельм понял это сразу, ещё на лестнице: стражники вели себя слишком тихо, а из зала заседаний вышел человек с бумагой и не посмотрел в глаза.

Готтфрид ждал его в маленькой комнате рядом с подвалом, где хранились дела. Судья сидел у окна, сложив руки, и смотрел на двор. Утренний свет делал его лицо мягким, почти домашним.

— Herr Vreisen. Присядьте.

Ансельм сел.

— Вы, кажется, хорошо знаете этот город, — сказал Готтфрид. — Двадцать лет службы. Вы, вероятно, знаете и мель-

ника Дитриха.

Пальцы Ансельма похолодели.

— Знаю, господин судья. Он потерял дочь.

— Да. Гретхен. Она в моём списке. — Судья не повернул головы. — Сегодня на рассвете, как мне рассказал один из моих людей, Дитрих сжёг на заднем дворе три мешка муки. Молча, без свидетелей. Странное занятие для человека, чей хлеб кормит половину города, особенно в такой голодный год.

— Возможно, он... горюет, господин судья.

— Возможно. — Готтфрид наконец повернулся. Улыбки на его лице не было, но было что-то похожее на интерес. — Мой человек заметил и другое. Незадолго до этого от мельницы уходила девушка. Тёмные волосы, серое платье. Шла быстро. Он не разглядел лица, но, по его словам, у неё была походка человека, который что-то знает.

Комната сузилась. Ансельм слышал, как в дальнем углу тикают часы, хотя раньше не замечал, что они там есть.

— В городе много девушек с тёмными волосами, — сказал он.

— Разумеется.

— И серых платьев тоже.

— Разумеется, — повторил Готтфрид тем же ровным голосом. — Я упомянул об этом только потому, что вы, Herr Vreisen, человек порядка. Вы любите, чтобы все нити были на своих местах. Я подумал, вам будет полезно знать, что од-

на нить сегодня оказалась не там, где ей положено.

Он поднялся. Прошёл к столу, взял папку, положил её перед Ансельмом. Не открывая.

— Кстати, — сказал он совсем другим, будничным тоном. — Ваша дочь ведь занимается травами? Я слышал, у неё хороший талант. Мать Гроссов упоминала, что Лизбет иногда приносила им настой от кашля. Совсем невинная мелочь.

— Да, — выдавил Ансельм. — Невинная.

— Конечно. Всё невинное, пока не окажется в протоколе.

Судья кивнул ему, как кивает человек, оставивший в комнате гвоздь и точно знающий, что о него зацепятся. Потом вышел.

Ансельм остался сидеть с закрытой папкой под ладонью. За окном стучали молотки: плотники заканчивали помост. Он подумал, что впервые за двадцать лет не знает, что записать в графе «ответ».

Остаток дня он провёл в странном тумане. Ансельм переписывал бумаги, выводил даты, ставил подписи, а в голове звучало одно слово: *нить*. Он думал о том, откуда Готтфрид знает про настой. Мать Гроссов, Магда, приходила в дом Врейzenов один раз, за неделю до смерти младшего. Ансельм не был тогда дома. Значит, говорила с Лизбет. Значит, судья уже разговаривал с Магдой. Значит, папка лежала у него на столе не случайно, и в ней было что-то ещё.

* * *

Лизбет в это время стояла на кухне у пекаря Гофмана,

держа в руках медный таз.

Она шла сюда с рассвета, с узелком, в который на мельнице, пока Дитрих стоял на коленях над мешком, успела сунуть горсть зерна. Дома она нашла соль, развела в тёплой воде густой раствор, такой, чтобы яйцо не тонуло. Так делала Агнес, когда проверяла зерно для своих рожениц, и говорила, что чёрные рожки лёгкие, как пробка: в солёной воде они всплывают.

Жена пекаря, Урсула, женщина крупная, хмурая, с красными руками, смотрела на таз с подозрением.

— Ты чего удумала, девка? Колдуешь?

— Смотрите.

Лизбет высыпала зерно в воду. Оно ушло на дно, светлое и тяжёлое. Но по поверхности, медленно, как маленькие чёрные лодки, поплыли тонкие рожки, длиной в ноготь, фиолетовые, с белым нутром. Один, три, десять.

Урсула перестала дышать.

— Это не я их положила, — тихо сказала Лизбет. — Они были в зерне. В муке. В хлебе. У вас в доме месяц назад умер ребёнок.

— Не говори мне про это.

— Я не говорю. Я показываю.

Урсула молчала долго. Потом опустилась на скамью, прижав ладони ко рту. Плечи её мелко затряслись, и Лизбет, не зная, что ещё сделать, присела рядом и взяла её за руку.

— Я тебе не верю, — сказала Урсула сквозь пальцы. —

Не хочу верить.

— Не верьте. Просто промойте зерно. Перед помолом. Вот так, в соли. Выбросьте всё, что всплывёт.

— А если я ошибусь?

— Тогда потеряете немного зерна.

Урсула опустила руки. Лицо у неё было мокрым и злым.

— Ты дочь писаря, — сказала она. — Ты понимаешь, что за такие разговоры тебя саму могут?

— Понимаю.

— И всё равно пришла.

— Всё равно.

К вечеру Лизбет побывала в семи домах. Две хозяйки выгнали её, не слушая. Одна заплакала и ничего не сказала. Остальные четыре посмотрели на таз, на всплывшие рожки, и каждая в своё время, молча, кивнула.

Отцу она об этом не сказала.

* * *

Домой он вернулся не сразу. Сначала прошёл через рынок и долго стоял у пустеющих лотков, слушая, как торговки шепчутся. Ничего нового он не услышал. Он просто оттягивал время. В конце концов холод заставил его двинуться, и он вошёл в дом, когда стемнело.

Весь день Ансельм не мог вспомнить, как дошёл до дома. Ноги шли сами, как лошадь, которая знает дорогу. Он очнулся на пороге собственной кухни, с рукой на втором засове, который зачем-то запирали изнутри, хотя в доме ещё ни-

кого не было.

Это его напугало больше всего. Двадцать лет он жил так, чтобы каждое действие было осознанным, записанным и проверенным, а сегодня его тело проделало путь без него.

Он зажёл свечу. Поставил воду. Сел за стол и стал ждать.

Лизбет вернулась к сумеркам. Она вошла тихо, с корзиной, накрытой полотном, и, увидев отца, остановилась в дверях. По тому, как она держала корзину, обеими руками, прижав к животу, Ансельм понял, что она несла не покупки.

— Ты рано, — сказала она.

— Сядь.

— Папа, я...

— Сядь, Лизбет.

Он не повышал голоса. Он вдруг с ужасом заметил, что говорит точь-в-точь как Готтфрид: ровно, без нажима, так, что возразить невозможно. Лизбет села. Корзину поставила рядом, и Ансельм, чуть подавшись вперёд, увидел под полотном краешек чего-то тёмного: пучок сухих трав, кусок хлеба, пузырёк.

— Судья сегодня рассказал мне, — начал он и осёкся. Слов не хватало. Он привык записывать чужие показания, а свои собирал как мокрый песок. — Он сказал, что на расвете от мельницы Дитриха уходила девушка с тёмными волосами в сером платье. Он сказал это так, как говорят о погоде. Я хочу, чтобы ты мне сказала, что это была не ты.

Лизбет посмотрела на него. Потом медленно расстегнула

ворот платья, достала шнурок с мешочком, который носила на шее с детства, и положила на стол.

— Это была я, — сказала она.

Свеча качнулась. Ансельм закрыл глаза.

— Я сходила к Агнес, — продолжала Лизбет, и голос её дрожал, но слова шли ровно, как заученные. — Ханс пустил меня на две минуты. Он не виноват, я заставила. Она сказала мне, что дети умерли от муки. От чёрных рожков, спорыньи. Она видела их в муке у Дитриха. Она сказала это судье, а судья записал, что у неё «тайное знание о ядах».

— Я это писал, — глухо сказал Ансельм.

— Я знаю. — Она не отвела глаз. — Она тоже знала, что ты пишешь.

Он открыл глаза. Она сидела прямо, руки на коленях, и ему на миг показалось, что перед ним не семнадцатилетняя девочка, а жена, шесть лет назад умершая на этой самой кухне, с тем же взглядом человека, который уже решил и просто ждёт, когда ты догонишь.

— И что было у мельника? — спросил он.

Лизбет рассказала. Про лампу в окне, про колесо, которое молчало, про жернов и ладони Дитриха на нём. Про то, как он стоял на коленях и держал на ладони чёрный рожок, как другие держат гвоздь из собственного гроба. Про детские башмачки у порога. Когда она дошла до стона на берегу, голос сорвался, и она прижала кулак ко рту.

Ансельм встал. Обошёл стол. Не зная, что делать с рука-

ми, он сначала положил их ей на плечи, потом отдернул, потом всё-таки обнял: неловко, как обнимают ребёнка, которого не держали лет десять. Она уткнулась ему в жилет. От неё пахло речной сыростью и полынью.

— Ты не должна была туда ходить, — сказал он в её волосы.

— Кто-то должен был.

— Это моя работа.

— Твоя работа, — тихо сказала она, — записывать то, что говорят. Ты сам так сказал.

Он замер. Слова его собственные, из того самого вечера, только теперь возвращённые ему, как швыряют обратно пустую миску.

* * *

Потом они долго сидели молча. Вода в котелке давно вскипела и остыла. Ансельм смотрел, как оплывает свеча, и думал о вещах, о которых не думал годами.

— Она ещё что-то сказала, — проговорила наконец Лизбет.

— Кто?

— Агнес. Не про муку. Я не знала, говорить тебе или нет. Она просила передать, а потом я подумала... — Она не договорила и подняла на него глаза. — Она просила сказать тебе: *она не сердится*.

Он не сразу понял, о ком речь. Слова были простые, но прошли мимо, как звук в соседней комнате. Потом что-то в

груди перевернулось.

— Кто не сердится?

— Мама.

Стало так тихо, что слышно было, как тлеет фитиль.

Шесть лет назад, зимой, когда лихорадка выкосила три улицы, Ансельм сидел в коридоре. Он не входил в комнату жены, потому что боялся. Не заразы: он боялся увидеть. Всю жизнь он был человеком, который записывает, а не смотрит, и когда пришло время смотреть, у него не хватило смелости. Агнес Керн была в комнате. Он слышал её голос через дверь: тихий, ровный, монотонный, как молитва. Слышал, как жена что-то отвечала. Слов разобрать не мог. Под утро повитуха вышла, положила ему руку на плечо, сказала: «Всё». И больше ничего.

Больше ничего. Шесть лет.

— Она сказала мне, что не смогла передать раньше, — продолжала Лизбет тихо. — Ты сидел в коридоре и не мог войти, а потом стало поздно. Она сказала, что мама просила сказать тебе, что не сердится ни за что. Ни за что, папа.

Ансельм опустил на скамью. Пальцы дрожали, и он сцепил их на столе, как делал в детстве, чтобы не выдать волнения.

— Агнес была там, — выговорил он. — Она держала её за руку. Мать могла... в бреду, в последние минуты... Могла сказать что угодно.

— Да.

— Это не колдовство.

— Я знаю, — сказала Лизбет. — Я тоже сначала подумала, что она просто была там. Что она говорит очень естественные вещи. Но пап... — Она замялась. — Почему она шесть лет молчала? Я приходила к ней каждую неделю. Она никогда не упоминала об этом. И только там, в камере, вдруг сказала.

— Потому что боялась не успеть.

— Может быть.

Они оба слышали, как звучит это «может быть». Как пустая скорлупа. Ни один не сказал вслух то, что лежало в воздухе между ними: что есть вещи, которые логика объясняет и всё равно не объясняет до конца.

Ансельм закрыл лицо руками. Впервые за шесть лет он плакал: беззвучно, стыдясь, будто его застали за чем-то неприличным. Лизбет не двигалась, не утешала. Просто сидела рядом и позволяла.

* * *

Решение пришло не сразу. Оно созревало как нарыв: сначала боль, потом жар, потом невозможность дольше терпеть.

— Я могу потерять листы, — сказал он, когда слёзы иссякли. Голос был хриплым, чужим. — Всё, что связано с ядами и муки. Мельник, заявление о «тайном знании». Если этих листов не будет, то эти пункты не попадут в обвинение.

— Тебя поймают.

— Копии делаются в двух экземплярах. Один хранится в

архиве ратуши, второй идёт судье. Я переписываю оба. Если я ошибусь в копии судьи, он заметит, потому что всё сверяет. А в архивной могу править.

— Это не поможет Агнес.

— Не поможет. Не сейчас. Но если когда-нибудь будет апелляция, второй суд, епископ, приедет кто-то из Бамберга... — Он говорил всё быстрее, словно боялся, что решимость выветрится. — Тогда в архиве будет документ, где нет лжи. Там будет то, что она действительно сказала.

Лизбет смотрела на него долго.

— Это очень маленькое дело, — сказала она тихо. — Я не о том, что оно неважное. Просто маленькое.

— Знаю.

— И очень опасное.

— Знаю.

— Ладно. — Она взяла шнурок с мешочком, надела обратно на шею. — Тогда я тебе помогу.

— Нет.

— Пап...

— Нет, Лизбет. Ты перестаёшь ходить к мельнику, к Агнес, к кому бы то ни было. Ты сидишь дома, занимаешься травами, ходишь в церковь, ведёшь себя так, будто ничего не знаешь. Это моя часть. — Он поймал её взгляд и удержал. — Если я ошибусь, пострадаю я. Если ошибёшься ты, пострадает оба. Понимаешь разницу?

Она не согласилась, но и не возразила. Это было макси-

мумом, на что он мог рассчитывать.

* * *

В ратушу он вернулся за полночь.

Ключ от архива хранился у него уже пятнадцать лет: такая же привилегия писаря, как и печать. Стражник у ворот, сонный и продрогший, кивнул ему и отвернулся. Ансельм часто засиживался допоздна, все знали. В этом была его тихая сила: ничего необычного.

Архив пах пылью и мышами. Длинные дубовые полки уходили в темноту, и на каждой лежали связки бумаг, перевязанные бечёвкой, разложенные по годам и делам. Ансельм зажёг свечу, поставил её на стол и минуту стоял, слушая тишину. Потом достал из ларца дело Агнес Керн.

Оно было тонким. Четыре допроса, четыре страницы, ничего лишнего. Он сел, развернул третий лист и нашёл нужное место. *«Подсудимая обладает тайным знанием о ядах».*

Пальцы замерли над пером.

Он мог просто зачеркнуть. Но зачёркнутая строка бросается в глаза, а Ансельм слишком долго был писарём, чтобы не знать этого. Нужно было переписать лист целиком, тем же почерком, теми же чернилами, на такой же бумаге, и подложить вместо старого. И сделать это так, чтобы разница не бросалась в глаза даже тому, кто помнил каждое слово.

Он взял чистый лист из середины стопки, где бумага такая же выцветшая. Обмакнул перо. Стал писать.

Это заняло час. Час, за который он ни разу не поднял го-

ловы, а свеча сгорела почти до половины. Он переписал допрос, сохранив всё: время, обращения, паузы. Изменил только одно место. Там, где раньше стояло «тайное знание», теперь было: *«подсудимая указывает, что в муке, которую ели дети, могли быть примеси, и что она видела такие примеси прежде»*.

Вышло почти невинно. Почти правда. Он перечитал дважды, посыпал песком, сдул, дал высохнуть. Потом взял старый лист и поднёс к пламени свечи.

Бумага занялась быстро. Он держал её за уголок, пока огонь не подобрался к пальцам, потом бросил в пустой камин и растёр пепел ногой.

Руки не тряслись. Это его удивило. Двадцать лет он думал, что нарушить правила означает сломаться, а оказалось, что нарушить правила означает просто делать то, что нужно, аккуратным почерком.

Он вернул дело в ларец, закрыл, поставил на место. Задул свечу. И только собираясь уходить, заметил, что на нижней полке, у самой стены, лежит ещё одна связка, которой он раньше не видел.

Это было не дело. Просто стопка листов, перехваченная чёрной лентой. Такой ленты в архиве не держали: писари пользовались бечёвкой. Ансельм взял связку, вернулся к столу, снова зажёг свечу.

Наверху лежал лист, исписанный аккуратным, острым, незнакомым ему почерком. Не писарским. Почерком чело-

века, привыкшего, что его читают.

Готтфрид.

Это был реестр. Строгие столбцы: даты, имена, короткие пометки. Первые записи касались городских дел за последние годы, как обычная служебная бухгалтерия. Но в самом низу листа стояла отдельная колонка, озаглавленная одним словом: *Vreisen*.

Ниже шла короткая запись, две строки. Ансельм поднёс свечу ближе.

«7 ноября. Допрос IV. Формулировка изменена: «признаёт» на «возможно, посещала». Первый раз».

И чуть ниже, другой рукой, другими чернилами, недавно, ещё не выцветшими:

«Сегодня. Ночью. Второй раз».

Ансельм не сразу понял. Свеча в его руке качнулась, тень метнулась по стене. Он поднял глаза на дверь архива, тёмную, неподвижную, запертую им же изнутри.

Запись была сделана сегодня. До того, как он сюда пришёл.

Кто-то знал, что он придёт. Кто-то заранее вписал слова «второй раз», ещё до того, как он взял в руки перо.

Он стоял в холодном архиве, с потухающей свечой и связкой чужих бумаг, и медленно, очень медленно понимал, что весь этот день, каждый его шаг, каждое решение были уже записаны. Не им. Кем-то, кто писал лучше, и быстрее, и ранее.

Глава 4. Арифметика

Ансельм не слышал шагов. Он слышал ключ.

Это был обычный звук: металл, входящий в замок, поворот, глухой щелчок. Сотни раз он слышал его в этом самом коридоре. Но сейчас он стоял с чужим реестром в руках, и щелчок был сухой и короткий, и у него свело желудок.

Он успел сделать две вещи. Задул свечу. И сунул связку листов обратно на нижнюю полку, туда, откуда взял, глубоко, в пыльную тень. Потом выпрямился и встал у стола, положив ладони на столешницу так, как стоят люди, которым нечего скрывать.

Дверь открылась. Свет фонаря упал на пол длинной жёлтой полосой.

— Не стоило гасить свечу, Herr Vreisen, — сказал Готтфрид. — Воск пахнет ещё долго. А в архиве пахнет только бумагой и мышами.

Он вошёл без спешки. Чёрный плащ, под ним тот же безупречный камзол, что и днём: будто он не ложился вовсе, или ложился в нём. Поставил фонарь на край стола, и в его свете лицо судьи стало резче, но не злее. Он выглядел усталым. Именно усталым, как человек, дочитавший скучную книгу до конца.

— У меня есть ключ, — сказал он. — Не удивляйтесь. Ключ есть у каждого, кто отвечает за то, что лежит в этих

шкафах.

— Господин судья, я...

— Вы переписали третий лист дела Керн. Полагаю, довольно аккуратно. Ваш почерк я узнаю в любом виде, даже когда вы стараетесь писать как обычно. Особенно когда стараетесь.

Ансельм молчал. Во рту стоял вкус железа.

— Пепел вы растёрли ногой, — продолжал Готтфрид, кивнув на камин. — Правильно. Но угол листа не догорел, и он лежит вон там, в золе. Там видно слово «яды».

Он не смотрел в сторону камина. Он смотрел на Ансельма, и в этом взгляде было не торжество, а что-то похожее на терпеливое любопытство.

— Реестр, — выговорил Ансельм. Голос вышел чужой. — Нижняя полка. Вы записали «второй раз» до того, как я...

— Я записал это в шесть вечера, — спокойно сказал судья. — Чернила ещё свежие, вы заметили. Я стараюсь быть точным.

— До того, как я принял решение.

— До того, как вы его приняли осознанно. Не до того, как оно созрело.

Он подошёл к полке, присел на корточки, без труда нашёл связку с чёрной лентой, вынул её. Развернул на столе, придвинул фонарь.

— Вы человек, Herr Vreisen, которого легко читать. Не в обиду. Двадцать лет вы делали одно и то же, с одной и той же

аккуратностью. Такие люди не ломаются внезапно. Они накапливают. Сначала «твёрдо не помнит» вместо «признаёт»: пробная монета, брошенная в колодец. Если колодец не отвечает, следующая монета тяжелее. Я заметил вашу первую подмену в четвёртом допросе. Я знал, что будет вторая. Вопрос был только когда.

— Это не пророчество.

— Нет. — Готтфрид впервые улыбнулся, коротко, одними уголками рта. — Это арифметика. Вы удивитесь, как много в жизни можно предсказать, если внимательно считать. Я в этом не колдун, Herr Vreisen. Я в этом бухгалтер.

Слово *колдун* прозвучало в тесной комнате странно. Оно повисло между ними, и оба будто заметили это одновременно. Фонарь на краю стола качнул пламенем, хотя в архиве не было ни сквозняка, ни движения воздуха. Ансельм посмотрел на огонь. Потом на судью. Готтфрид смотрел на огонь тоже, и лицо его на секунду стало пустым.

— И не ищите в этом чуда, — добавил он. — Сегодня утром я сказал вам о вашей дочери и о настое от кашля. Это было не предупреждение, Herr Vreisen, это был толчок. Человек вашего склада, услышав такое днём, ночью идёт в архив: чтобы успеть, пока ещё можно что-то исправить. Я не угадывал. Я подтолкнул, а потом записал, куда вы покатитесь.

— Пойдёмте, — сказал он. — Здесь холодно, а разговор будет долгий. Я предпочитаю вести такие разговоры наверху.

Ансельм хотел отказаться. Не смог. Он пошёл следом, чувствуя, как ноги сами следуют за светом фонаря, как шли они по дороге домой днём.

Они поднялись по узкой винтовой лестнице, которой Ансельм почти не пользовался: она вела на верхний ярус рауши, в маленькую караульную комнату под самой крышей. Ступени были крутые, стёртые, и на каждом повороте в стене чернела узкая бойница, за которой стояла ночь. Воздух становился холоднее с каждым шагом. Пахло старым деревом и птичьим помётом: под стрехой кто-то гнезвился.

Здесь днём сидел дозорный, а ночью было пусто. Деревянная скамья, стол, жестяная кружка с засохшими остатками пива. Единственное окно смотрело на площадь. Оно было открыто. Снег больше не шёл, небо расчистилось, и в чёрной глубине над крышами мерцали звёзды. Внизу, в пятне лунного света, стоял помост: новый, бледный, с ровно подогнанными досками. От него ещё пахло смолой.

Готтфрид поставил фонарь на подоконник и облокотился рядом. Помолчал.

— Я родом из Вюрцбурга, — сказал он. — Учился там, потом служил при епископском суде. В двадцать шестом году, когда начались большие процессы, я был на четвёртом году службы. Вы слышали, что там было?

— Слышал, — сказал Ансельм. — Говорят, сотни.

— Сотни. — Судья кивнул. — Но не о них я хочу расска-

зять. До больших процессов, за год, в одной деревне в трёх милях от города умерло от лихорадки двенадцать человек. Зима была тяжёлая, скот пал, люди ослабли. Крестьяне решили, что это порча. Они схватили двенадцать женщин, ни одна из которых не имела к болезни никакого отношения, и сожгли их за одну ночь. Без суда, без допроса, без протокола. Просто сожгли, потому что им было страшно.

Он говорил ровно, глядя на помост. Ансельм слушал.

— Среди них была моя жена.

Ансельм повернул голову.

— Её звали Клара. Она гостила у сестры в той деревне. Была там третий день. Её схватили как чужую. Чужая — значит, подозрительная. Я узнал только на следующий день и поехал верхом, всю ночь, не останавливаясь. Когда приехал, было уже утро, и на пепелище стояли собаки. Они не выли и не дрались. Они просто стояли и смотрели в одну сторону.

Фонарь на подоконнике мигнул. Пламя вытянулось, потом выровнялось. Готтфрид не обратил на это внимания, или сделал вид.

— Я не буду рассказывать вам, что я почувствовал. Я и сам не знаю. Но я знаю, к какому выводу пришёл. Хотите услышать?

— Да, — выдохнул Ансельм.

— Люди будут жечь. Всегда, когда им страшно и когда в округе есть кто-то, на кого можно показать пальцем. Остановить это нельзя, потому что страх сильнее разума, а разум

сильнее закона только в тихие времена. Но можно сделать так, чтобы огонь горел *по правилам*. Чтобы каждого обвиняемого выслушали. Чтобы записали показания. Чтобы была бумага, которую можно перечитать, оспорить, вернуться к ней. — Он тронул подоконник кончиками пальцев. — Суд, Herr Vreisen, это не то, что противоположно костру. Суд это *клетка* для костра. Без клетки огонь съедает всё. С клеткой он съедает только то, на что указано.

Ансельм долго молчал. Внизу порыв ветра качнул фонарь у входа в ратушу, и тень помоста на снегу дрогнула.

— Вы сами в это верите, — сказал он наконец.

— Разумеется. Я не циник. Цинику было бы проще.

* * *

— Вы знаете, — сказал Ансельм. Слова выходили с трудом, горло пересохло. — Вы знаете, что дети умерли не от Агнес.

Готтфрид не ответил сразу. Он снял с подоконника фонарь, повертел в пальцах, поставил обратно.

— Спорынья, — сказал он.

Ансельм оцепенел.

— Я видел эти рожки в муке Дитриха два месяца назад, — продолжал судья. — До того, как умер первый ребёнок. Мой помощник докладывал о странных случаях в пекарнях. Я изучил вопрос. В Вюрцбурге у меня был друг, доктор, который писал о таких отравлениях. Он называл это «злым хлебом». Я написал ему. Он ответил, что в сырые годы это

бывает и что лечить нечем, надо только отказаться от зараженного зерна. — Он посмотрел на Ансельма без тени вины. — Да, я знаю. Я знаю с самого начала.

— Тогда почему...

— Потому что я знаю и другое. — Голос остался ровным, но что-то в нём изменилось, стало твёрже. — Если я завтра объявлю городу, что дети умерли от мельничной муки, что будет? Дитрих потеряет дочь и сам будет растерзан толпой раньше, чем кто-нибудь спросит, знал ли он. Потом растерзают тех, кто продавал ему зерно. Потом пекарей. Потом тех, кто указал на пекарей. Город не примет ответа «это сырая погода и слепой случай». Ему нужна вина. Если я не дам её сам, аккуратно, через суд, он найдёт её сам. Неаккуратно.

— Агнес не виновата.

— Агнес Керн виновна в том, что она стара, что она не замужем, что у неё нет детей, которые могли бы за неё заступиться, что она знает травы и слишком много говорит. — Он произнёс это без злобы. — Есть люди, которых город уже осудил, Herr Vreisen, задолго до меня. Я только оформляю приговор, который написан в других книгах.

— Вы говорите, что она умрёт в любом случае.

— Я говорю, что если не она, то умрёт кто-то другой. Дитрих, ваша дочь, ещё пять человек. — Он повернул голову и посмотрел на Ансельма прямо. — Вы понимаете, что я вам сейчас говорю? Я не пытаюсь вас запугать. Я пытаюсь объяснить, как устроен мир, в котором мы оба вынуждены ра-

ботать.

Ветер снова тронул фонарь. Ансельм смотрел на помост и думал о том, что самое страшное в этой речи не жестокость. Самое страшное было то, что он не мог найти в ней изъяна. Каждое слово стояло на своём месте, ровное, аккуратное, как строчка в его протоколах.

И всё-таки изъян был. Ансельм чувствовал его, как чувствуют занозу под кожей, не видя: где-то в самой середине этого безупречного рассуждения лежал пробел, и если бы найти его, вся конструкция рассыпалась бы. Но слова не давались. Он был писарем, не философом. Он умел записывать чужие доводы, но не умел ломать.

* * *

— У меня есть предложение, — сказал Готтфрид.

Он достал из кармана сложенный лист и положил на подоконник, рядом с фонарём. Не разворачивая.

— Казнь назначена на пятницу. Четыре дня. До того времени вы будете продолжать вести протокол. Ваше исправление третьего листа я оставляю в архиве, как оно есть. Оно мне даже полезно: чем больше в деле сомнений, тем меньше у епископа поводов вмешиваться. Приговор будет вынесен по остальным пунктам, которых достаточно.

Ансельм смотрел на него, не понимая.

— Но, — сказал Готтфрид, — у вас двадцать лет безупречной службы и правильный почерк, и вы человек, который понимает, зачем нужны клетки. Мне нужен помощник.

Не писарь, а помощник судьи. Тот, кто будет присутствовать при отборе дел, при составлении обвинений, при решении, что попадает в протокол, а что нет. Тот, кто сможет сдерживать меня, если я зайду слишком далеко. — Он чуть склонил голову. — Вы правильно слышали: сдерживать. Мне нужен человек с совестью. Такие встречаются реже, чем вы думаете.

— А если я откажусь?

— Тогда вы останетесь писарём. Продолжите переписывать листы по ночам. Я буду вести свой реестр. В какой-то момент число записей перейдёт границу, за которой мне придётся принять меры. Это не угроза. Просто я тоже вынужден считать.

Он развернул лист. Это была небольшая бумага, исписанная женским почерком, неровным, с кляксами. Внизу стояла подпись: *Магда Гросс*.

Ансельм прочитал первые строки. Потом остановился, потому что дальше читать не мог.

«...Лизбет, дочь писаря Врейзена, приходила к нам в начале осени, приносила питьё от кашля для старшего. Питьё горчило и пахло странно. Через три недели младший заболел, тот, что умер...»

— Она не подписывала это при мне, — сказал Готтфрид. — Она подписала три дня назад, по собственной воле. Ей было очень страшно, и ей хотелось, чтобы виноват был кто-то конкретный. Я не давил. Просто выслушал. Вы знаете, как

это бывает.

Ансельм знал. Он сам записывал сотни таких показаний. Это было самое страшное: он знал, как они появляются.

— Этот лист лежит у меня в папке, — сказал судья. — Пока просто лежит. Я не хочу пускать его в ход. Но папка, Herr Vreisen, это то, что существует всегда, независимо от желаний. Вы отвечаете мне на предложение до пятницы. Если да, папка станет тоньше. Если нет...

Он замолчал и не закончил фразу. Не было нужды.

Потом взял фонарь, прошёл к лестнице и, уже ступив на первую ступень, повернул голову.

— Ваша жена была хорошей женщиной, я слышал. Агнес Керн присутствовала при её смерти, если не ошибаюсь. Странно, что вы никогда не спрашивали, что они говорили друг другу.

Ансельм вздрогнул.

— Впрочем, — мягко добавил Готтфрид, — это ведь не относится к делу.

Шаги его затихли внизу, в глубине ратуши.

* * *

Ансельм остался наверху один.

Он подошёл к окну. Снег на площади лежал ровный, нетронутый, и помост чернел на нём, как строчка на чистом листе. В лунном свете были видны сосновые бревна, сложенные в штабель у подножия, и чуть дальше столб, врытый в землю. Он уже стоял там. Ансельм не заметил, когда его по-

ставили.

Он стоял долго. Мёрз. Думал о Кларе, которую никогда не видел, и о собаках, которые смотрели в одну сторону. Думал о том, как чувствует себя человек, который считает свою правоту единственным, что у него осталось, и как далеко он способен зайти ради этого. Думал о Лизбет. О том, что он сделает, если придётся выбирать.

Где-то внизу хлопнула дверь. Потом снова стало тихо.

* * *

Домой он вернулся на рассвете.

Улица была пуста и голубовата от снега. В окнах ещё не горел свет, только над пекарней в конце Кузнечной поднимался слабый дымок. Ансельм остановился на своём пороге и долго стоял, не входя.

Он думал о том, что в этой истории нет никого, кого можно было бы просто ненавидеть. Это было хуже всего. Если бы Готтфрид был жестоким, было бы легче. Если бы он был лжецом, было бы легче. А он был человеком, чья логика выдерживала любое возражение и чья жена сгорела на пепелище в трёх милях от Вюрцбурга.

И всё же он знал. Знал ту простую, нелепую вещь, которую не мог объяснить ни судье, ни себе: что-то в этой ровной, безупречной картине мира было неправильным. Что-то в ней не считалось.

Он вошёл в дом. Лизбет спала на скамье у остывшего очага, свернувшись под пледом, с недописанным списком трав

на коленях. Он постоял над ней, слушая тихое дыхание. Потом достал из кармана связку ключей и, не думая, положил их на стол.

Печати среди них не было. Она осталась в ратуше, на столе, рядом с чернильницей, где лежала всегда. Он вдруг понял, что впервые за двадцать лет ушёл из-за стола, не взяв её с собой.

Не забыл. Просто не смог поднять.

Глава 5. Четыре дня

Вторник

Готтфрид не упомянул о ночном разговоре ни словом. Ансельм пришёл в ратушу к восьми, положил плащ на крюк, сел за свой стол, и печать лежала там же, где он её оставил, рядом с чернильницей. Он ждал какого-нибудь знака, намёка, взгляда. Ничего не было. Судья поздоровался с ним так же, как здоровался год подряд, вежливо и отстранённо.

Это было хуже любого напоминания.

Ансельм не спал вторую ночь. Он чувствовал это в каждом движении: в том, как медленно поднимается рука, как слова на бумаге на мгновение расплываются, а потом снова собираются в строчки. Он макал перо в чернила и ловил себя на том, что смотрит на стол судьи, на стопку бумаг, на закрытую папку. Где-то там лежал лист с неровной подписью, а под ним, возможно, другие, о которых он ничего не знал.

К полудню в комнату внесли корзину. Стражник поставил её на стол судьи и вышел, не задавая вопросов. Готтфрид заглянул внутрь, достал пачку листов, перехваченных шнуром, и без лишних слов положил её перед Ансельмом.

— Доносы за последнюю неделю, — сказал он. — Сорок одно. Из них, по моей прикидке, примерно десять стоит рас-

смотреть всерьёз. Остальные продиктованы обидами, долгами или скукой. Я хочу, чтобы вы прочли всё и сказали мне своё мнение.

— Моё мнение?

— Вы много лет слушаете, как люди лгут, Herr Vreisen. Лучше вас этого не понимает никто в городе. — Он вернулся к своим бумагам. — Просто отметьте, что кажется вам стоящим, и что нет.

Ансельм взял первый лист.

«Вдова Марта Шенк, торговка яйцами, в прошлую пятницу смотрела на корову соседа, после чего корова перестала доиться». Подпись: сосед, задолжавший вдове четыре гроша.

Второй: *«Кузнец Йорг Майер, будучи пьян, сказал, что не верит в ведьм. Это слышали трое».* Двое из троих, судя по фамилиям, были его кредиторами.

Третий: *«Пекарь Каспар Вильд подмешивает в тесто золу, оттого хлеб чёрный и дети болеют».* Донос подписан другим пекарем, торговавшим на соседней улице. Почерк был красивый, с завитками: человек явно гордился своей грамотностью и не понимал, что именно в этом бумага его и выдаёт.

Четвёртый: *«Дочь сапожника, Анна, пятнадцати лет, по ночам разговаривает сама с собой на непонятном языке».* Писал отец. Подпись дрожала: он явно не хотел этого писать. Внизу корявая приписка: *«Господь свидетель, я боюсь*

за неё».

Ансельм читал, и строчки бежали одна за другой. Он видел почерки, видел кляксы, видел, как люди пытались казаться грамотнее, чем были. Он знал многих из них: покупал хлеб у одного, чинил башмаки у другого. И вдруг понял, что в этой стопке нет ни одной злой бумаги. Были страх, жадность, усталость, но не зло. Зло было дальше, за столом, и оно называлось «процедура».

Он взял перо. Тихо, стараясь не привлекать внимания, положил в сторону три листа: вдова Шенк, кузнец Майер, дочь сапожника. Потом ещё два. Потом ещё.

К вечеру на его левой стороне стола лежало одиннадцать доносов. На правой тридцать.

— Это все, которые можно отклонить? — спросил Готтфрид, подойдя.

— Да.

— Одиннадцать из сорока одного. — Судья перебрал листы, задержавшись на письме отца девочки. — Это вы откладывали дольше всех остальных. Почему?

— Он боится за неё, — сказал Ансельм. — Он не хочет её обвинения, он хочет, чтобы кто-то её защитил.

— Вы правы. — Готтфрид положил лист в стопку отклонённых. — Дело закрыто.

Ансельм смотрел на бумагу и не сразу осознал: он только что спас пятнадцатилетнюю девочку. Одним движением пера. Просто отложил лист налево, и через неделю никто не

вспомнит, что он существовал.

Это было почти физически приятно. Тёплая тяжесть вни-зу груди, как после долгой работы. Ансельм знал, что это та-кое, и знал, что ему должно быть страшно от того, как легко оно далось.

Вечером, выходя из ратуши, он столкнулся на ступенях с сапожником. Тот стоял, комкая в руках шапку, явно ожи-дая кого-то или чего-то. Увидев Ансельма, он склонил го-лову ниже обычного и пробормотал: «Доброго вечера, герр писарь». Ансельм кивнул. Сапожник смотрел на него чуть дольше, чем нужно, будто хотел спросить и не решался. По-том отвернулся.

Он ничего не знает, подумал Ансельм. Он не знает, что его дочь жива только потому, что один человек сегодня положил лист налево.

И от этой мысли стало одновременно и светло, и жутко.
— Вы заметили? — тихо сказал Готтфрид, когда они оста-лись вдвоём, собирая бумаги. — Это и есть власть. Не самое страшное в ней, что она отнимает. Самое страшное, что она иногда даёт возможность спасти.

* * *

Среда

Магда Гросс жила в двухэтажном доме у городской стены. Лизбет шла туда задворками, не по главной улице, и всю до-

рогу считала кресты. Их стало больше, чем в прошлый раз. Мелом, углём, а на одной двери просто выцарапанный ножом, глубоко, так что в борозде осталась белая щепка. Она насчитала девять, прежде чем дошла до нужного дома, и перестала.

Во дворе стояла детская люлька, в которую уже три недели никто не клал ребёнка. Лизбет постояла у калитки, собираясь с духом, потом постучала.

Открыла не сама Магда, а старшая дочь, девочка лет десяти. Лизбет назвала себя, и лицо у девочки стало закрытым, как захлопнутый ставень.

— Мамы нет.

— Она дома, я слышу. Пожалуйста, скажи, что пришла Лизбет Врейзен. Я не сделаю ей ничего плохого.

Из глубины дома донёсся усталый голос:

— Пусти, Эльза.

Они сидели на кухне. Магда была моложе, чем Лизбет представляла: лет тридцати, но с седой прядью над виском и руками женщины вдвое старше. Перед ней стояла нетронутая кружка с остывшим отваром.

— Ты пришла просить, чтобы я забрала показания, — сказала Магда.

— Я пришла спросить, зачем вы их дали.

Магда подняла глаза. В них не было вражды: только пустота, как в доме, где выбрали всю мебель.

— Потому что у меня умерли оба сына, — сказала она. —

Сначала Матиас. Через три недели Каспар. Ты знаешь, что такое хоронить двоих за месяц?

— Нет.

— Тогда и не спрашивай. — Она сжала кружку. — Мне нужно было, чтобы кто-то ответил. Чтобы это не было просто так. Просто так я жить не могу.

— Вы сказали, что в питье было что-то странное.

— Ты приносила настой.

— Тимьян, мёд и немного солодки. От кашля. Вы сами его пили вместе с мальчиком. Вы тоже болели.

Магда замолчала. Потом очень медленно, словно проверяя, не упадёт ли, выпрямила спину.

— Судья пришёл ко мне через неделю после похорон Каспара, — сказала она наконец. — Он был очень добр. Не торопил. Слушал. Спрашивал, не замечала ли я чего-нибудь странного. И каждый раз, когда я что-то говорила, он повторял мои слова, только чуть иначе. Я сказала: «Питьё горчило». Он сказал: «Значит, горечь была необычной». Я сказала: «Ну да, необычной». Он сказал: «Вы уверены, что оно было безопасным?» Я сказала: «Не знаю». А потом в бумаге оказалось: «Питьё пахло странно».

Лизбет молчала.

— Я знала, что ты ни при чём, — продолжала Магда глухо. — В глубине знала. Но так было легче. Если ты, то... то это не моя вина. Не я кормила его хлебом. Не я пекла.

Она осеклась. Лизбет увидела, как по лицу её прошла су-

дорога, и поняла, что Магда только что произнесла вслух мысль, которую прятала от себя неделями.

— Хлеб, — сказала она осторожно. — Вы пекли его из муки с мельницы?

— Из всей муки в городе. У нас нет своей печи.

— Тогда вы понимаете, что... что это могла быть мука.

— Не говори так.

— Магда...

— *Не говори!* — Она вскочила, опрокинув кружку. Отвар разлился по столу тёмной лужей. — Если это мука, то это я. Понимаешь? Я пекла, я кормила, я клала ему в рот. Я. Если это не ты и не ведьма и не судьба, значит, я убила своих детей собственными руками.

Тишина была такой, что слышалось, как капает со стола.

Лизбет встала. Подошла, не зная, можно ли, и обняла, и Магда сначала окаменела, а потом обмякла, уткнувшись лбом ей в плечо. Плакала она так же, как, наверное, плакал на берегу Дитрих: страшно, без голоса.

— Я не прошу вас отказаться, — сказала Лизбет тихо. — Только не повторяйте это в суде. Если вас вызовут, скажите, что не помните. Что были в горе. Этого будет достаточно.

— Они спросят, почему я подписала.

— Скажете, что не понимали, что подписываете.

Магда отстранилась, вытерла лицо рукавом.

— Ты очень похожа на свою мать, — сказала она. — Она тоже умела заставить человека сказать то, чего он сам не

знал, что хочет сказать.

Лизбет вышла на улицу, и только у поворота заметила, что напротив дома у ворот стоит человек в тёмном плаще и делает вид, что рассматривает забор. Он не смотрел на неё. Он просто стоял. Как стоят люди, которые уже всё видели.

Она не ускорила шаг. Шла как ни в чём не бывало, по самой середине улицы, держа спину прямо, как учила мать. Но свернув за угол, вдруг прислонилась к стене и несколько секунд стояла, закрыв глаза, слушая, как стучит в ушах.

* * *

Четверг

Вечером за ужином они оба лгали.

Ансельм не сказал Лизбет о предложении Готтфрида. Она не сказала ему о Магде. Они сидели друг напротив друга, ели тот же жидкий суп, и каждый исподтишка наблюдал за другим, и каждый видел то, что хотел: спокойную, собранную маску, за которой лежала ноша, слишком тяжёлая для слов.

— Завтра, — сказала наконец Лизбет.

— Да.

— Ты пойдёшь?

— Я обязан. Писарь присутствует при исполнении приговора.

— Зачем?

— Чтобы записать, что приговор исполнен.

Лизбет положила ложку.

— Я не пойду.

— Я и не хотел, чтобы ты шла.

— Я буду молиться.

— Хорошо.

Они помолчали.

— Папа, — сказала она тихо. — Что бы ни случилось завтра. Что бы ни случилось потом. Ты ведь будешь помнить, что ты пробовал?

Он посмотрел на неё. Внутри что-то дрогнуло: она говорила так, будто прощалась. Или будто знала что-то, чего он не знал. Но спросить он не успел. Лизбет встала, поцеловала его в макушку, как целовала в детстве, и ушла наверх. Ступени скрипнули три раза. Он сосчитал.

Он остался один. На столе горела свеча, и рядом с ней лежал лист бумаги, на котором он с утра пытался написать ответ Готтфриду. Там было одно слово. Он так и не решил, какое.

* * *

Ночью он пошёл в подвал.

Ханс дежурил у двери камеры. Увидев Ансельма, он вздрогнул и потянулся к связке ключей, но не произнёс ни слова. Просто отпер и отошёл к лестнице.

Агнес сидела под окном, так же, как сидела в те ночи, когда Ансельм не видел её. Она стала тоньше. Запястья торчали из рукавов, как ветки. Но взгляд был ясный.

— Писарь, — сказала она. — Я ждала. Закрой дверь.

Он закрыл. Помолчал. Потом сказал то, что не собирался говорить:

— Что она мне сказала? Перед смертью.

— Лизбет тебе передала.

— Передала. Но я хочу слышать от вас. Как это было.

Агнес усмехнулась, и улыбка её вышла неожиданно мягкой.

— Она лежала вот так, — сказала она, приподняв руку.

— Жар был сильный, она уже не различала стен. Но в самом конце что-то прояснилось. Она открыла глаза. Посмотрела прямо на меня. Сказала: «Он сидит за дверью». Я сказала: «Да». Она сказала: «Он слушает. Он всегда слушает». Я сказала: «Да». Она улыбнулась. «Скажи ему, что я не сержусь. Скажи, что он делал то, что мог».

Ансельм опустил на пол, прямо на солому, потому что ноги отказались держать.

— Она так и сказала? «Что мог»?

— Так.

— А вы молчали шесть лет.

— Я не знала, как это сказать. — Агнес тронула его за плечо сухой лёгкой рукой. — И ещё я боялась. Если я скажу тебе, что она тебя простила, а ты не простишь себя сам, то мои слова будут бесполезны. Люди не могут принять прощение, пока они сами не готовы. Я ждала, пока ты будешь готов.

— А я готов?

— Не знаю. — Она помолчала. — Но я знаю, что у тебя есть выбор. Я слышала, что тебе его предложили.

Ансельм поднял голову.

— Откуда?

— Стены в этом городе тонкие, а люди любят говорить. — Она снова улыбнулась. — Значит, правда. Судья зовёт тебя в помощники?

— Да.

— И что ты думаешь?

— Я думаю, — медленно сказал он, — что если я соглашусь, я стану тем, кого ненавижу. А если откажусь, он пустит в ход бумагу против Лизбет.

— Соглашайся.

Он не поверил своим ушам.

— Что?

— Соглашайся, писарь. — Голос Агнес был спокойным. — Меня ты не спасёшь, ты это знаешь. Я старая, и дорога моя уже кончается. Но после меня придут другие. Завтра, через месяц, через год. Всегда найдётся кто-то, на кого показывают пальцем. И лучше, чтобы рядом с судьёй сидел человек, который умеет откладывать листы налево, чем тот, кто пишет под диктовку.

— Это оправдание.

— Это цена. — Она посмотрела ему в глаза. — Ты не станешь тем, кого ненавидишь, если не забудешь, зачем пришёл. Вот и всё. Только это. Помни, зачем пришёл.

Он долго молчал. Снаружи, в коридоре, переступил с ноги на ногу Ханс. Потом Агнес вдруг наклонилась ближе и понизила голос:

— Ещё одно. Печать. Которую ты носишь.

Ансельм моргнул.

— Она старая. Гораздо старше, чем ты думаешь. Ты двадцать лет держишь её и не замечал, какая она тяжёлая. Но ведь тяжёлая, да?

— Это просто железо.

— Железо помнит, — сказала Агнес. — Не слова, не имена. Только то, что сделано. Так кузнецы говорят, а они знают. Когда придёт время решать, возьми её в руки, как будто впервые. И почувствуй.

— Что почувствую?

— Что тебе придётся нести.

Она откинулась к стене и закрыла глаза, словно устав. Разговор был окончен.

Он поднялся, постоял, не зная, что сказать. Потом, неловко, как делают люди, не привыкшие к такому, поклонился ей. Она не видела. Или не подала вида.

* * *

Пятница, предрассветный час

Он пришёл в ратушу в четыре утра.

Город ещё спал. Фонари у ворот погасли, и в чёрном воз-

духе над площадью висела та особая тишина, которая бывает только перед казнью и перед рождением ребёнка: тишина, в которой все ждут, хотя никто не знает чего.

Готтфрид ещё не спал. Он сидел за столом в кабинете, при единственной свече, и перед ним лежал документ, исписанный ровным, чётким почерком. Увидев Ансельма, он не удивился, только отложил перо.

— Вы решили, — сказал он.

— Да.

— Я слушаю.

Ансельм набрал воздуха. Слова, которые он хотел произнести, застряли где-то на подходе, но он заставил их выйти.

— Я согласен. Но с условием.

— Каким?

— Показание Магды Гросс против моей дочери уничтожается. При мне. Сегодня.

Готтфрид не ответил сразу. Потом взял из папки лист, тот самый, со странными кляксами и дрожащей подписью, и поднёс к свече. Бумага занялась. Он держал её, пока не подобрался огонь, потом опустил в глиняную чашку на столе.

— Принято, — сказал он. — Это всё?

— Всё.

— Тогда вот первая ваша обязанность как помощника судьи. — Он придвинул к Ансельму лист, исписанный ровным чистым почерком. — Приговор по делу Керн. Я составил его ночью. Вам нужно прочесть и заверить.

Ансельм взял лист. Прочёл. Каждое слово стояло на своём месте. *«...признаётся виновной в связи с силами тьмы, в порче младенцев, в ночных посещениях без приглашения... приговаривается к сожжению...»*

Внизу оставалось чистое место для заверительной печати.

Он взглянул на стол. Печать лежала на своём месте: тяжёлый железный штампель с потёртой рукоятью. Он протянул руку. Пальцы сомкнулись на дереве, и он вдруг, как она и сказала, почувствовал: она была тяжелее, чем прежде. Гораздо тяжелее. Весы на клейме смотрели на него из темноты, и под ними, крохотными буквами, *Iustitia*.

Она ничего не решает, мальчик. Она только подтверждает.

Он обмакнул печать в чернила. Поднёс к листу. На долю секунды замер.

И опустил.

Оттиск лёг ровно, чисто, без единого смазанного края. Весы чёрные на белом. Идеальные.

Снаружи, на площади, пробили колокола к заутрене. Где-то в глубине города, в подвале ратуши, женщина, которая не спала, услышала их и слабо улыбнулась в темноту.

Глава 6. Дым

К девяти утра на площади собралось полгорода.

Ансельм стоял у помоста, чуть в стороне, на отведённом писарю месте: на ступеньке у боковой лестницы, где можно держать на колене папку и не мешать. В кармане плаща лежала печать, холодная, тяжёлая, прижимавшаяся к бедру при каждом шаге. Он чувствовал её, как чувствуют больной зуб.

Снег шёл с рассвета. Мелкий, сухой, не таявший на плечах. Он ложился на крыши, на шапки людей, на свежие доски помоста и на поленья, сложенные вокруг столба. Всё выглядело чище, чем было, и это казалось Ансельму почти оскорбительным.

Люди стояли плотно. Он видел лица: знакомые, хлебные, сапожные. Вдова Шенк в тёмном платке. Кузнец Майер, трезвый, с опущенной головой. Отец маленькой Анны, сапожник, который вцепился в рукав жены. Все они пришли по долгу или по любопытству, или просто потому, что в такие дни не прийти было нельзя.

В третьем ряду он заметил Дитриха.

Мельник стоял один. Шапку снял, сжимал в обеих руках. Лицо у него было не злое и не растерянное, а какое-то выпотрошенное, как у человека, за ночь постаревшего на десять лет. Рядом с ним, на некотором расстоянии, стояла Магда Гросс, и они не смотрели друг на друга.

Лизбет он не нашёл. Он и не ожидал.

У самого помоста, в оцеплении из шести стражников с алебардами, стоял Ханс. Парень держал древко обеими руками, как держат утопающие, и смотрел прямо перед собой, в точку где-то над головами толпы. Ансельм видел, как у него ходит кадык. Ему было девятнадцать. Он уже знал, что сейчас придётся увидеть, и ещё не знал, как это пережить.

* * *

Агнес вывели из ратуши в половине десятого.

Она шла сама. Хромала сильнее, чем прежде, но не опиралась на стражников: те шагали по бокам, не прикасаясь к ней. Волосы были убраны под серый платок, лицо бледное, почти прозрачное, но прямое. Ансельм подумал, что она выглядит как человек, который идёт на долгожданную встречу, а не на казнь.

За ней шёл священник, бормотавший молитву. За ним Готтфрид, в чёрном плаще с белой каймой судейского достоинства. И позади всех, в тени, палач, мастер Рупрехт, большой, тихий человек в кожаном фартуке, которого в городе никогда не приглашали на свадьбы, но которого все звали, когда рождались больные дети.

Толпа умолкла. Не сразу: шепоток ещё пробежал по рядам и стих. Потом стало слышно, как падает снег.

Готтфрид поднялся на помост. Развернул свиток.

Ансельм слушал, и каждое слово он знал, потому что сам его заверил. «...Агнес Керн, вдова, повитуха... признана ви-

новой в сношении с силами тьмы, в порче младенцев... приговаривается к смертной казни через сожжение. В милосердие суда, в уважение к её раскаянию, исполнению огня предшествует удушение...»

Милосердие суда. Готтфрид произнёс это без запинки и без удара, ровным голосом человека, читающего акт. Ансельм смотрел на его руки, держащие свиток, на тонкое кольцо, и думал: он действительно верит. Вот это и есть самое страшное. Он верит, что дарует ей лучшую смерть из возможных.

Агнес подвели к столбу. Рупрехт ловко, без грубости, закрепил ремни. Она не сопротивлялась. Подняла голову, посмотрела на толпу, и Ансельм вдруг подумал: сейчас она закричит, назовёт имена, проклянёт.

Она заговорила тихо. Но на площади было так тихо, что слышали все.

— Я принимала вас, — сказала она. — Почти всех, кто стоит здесь. Твоего отца, Йорг. Твою дочь, Марта. Я помню, как вы кричали, и помню, как вы смеялись потом. Я не держу на вас зла.

По рядам пробежала дрожь.

— Дети умерли не от меня, — продолжала она тем же ровным голосом. — Ни один. Проверьте муку.

Кто-то ахнул. Из третьего ряда донёсся глухой стук: Дитрих выронил шапку.

Готтфрид не шелохнулся. Только рука его чуть поднялась,

и барабанщик у помоста ударил в барабан. Резко, громко, заглушая. Агнес замолчала, не договорив, и слегка улыбнулась, как улыбаются человеку, который сделал именно то, чего от него ждали.

Священник возвысил голос. Толпа, потеряв нить, зашевелилась, снова превратилась в массу: в шёпот, в толчею, в шарканье подошв. Слова «проверьте муку» прошли по рядам и растаяли. Ансельм видел, как Дитрих стоит, не поднимая шапки, и как соседи невольно отступают от него на шаг. Но никто ничего не сказал. Барабан сделал своё дело.

Так работала клетка. Ансельм это понял. Огонь горел по правилам, а правила были такими, что правда в них не помещалась.

* * *

Лизбет стояла у стены церкви Святого Килиана, в самой глубине толпы, в старой материнской шали, натянутой до бровей.

Она дала слово отцу, что не пойдёт. Она дала слово себе, что будет молиться дома. Но всю ночь она лежала без сна, слушая, как на площади стучат молотки, а утром встала, оделась и пошла, потому что поняла простую вещь: если Агнес будет умирать, а на площади не будет никого, кто знает правду, то правды как будто и не было.

Отсюда помост казался далёким, маленьким, как игрушечный. Она видела серый платок и фигуру в чёрном. Видела отца у боковой лестницы, со склонённой головой: он пи-

сал. Он писал так же ровно, как писал всегда, и она вдруг поняла, что ей не больно на него смотреть. Больно было бы, если бы он не писал. Если бы он стоял, опустив руки, и это увидели бы все.

«Проверьте муку».

Слова долетели до неё ясно, как колокольный звон. Она вздрогнула. Рядом женщина в коричневом чепце толкнула локтем мужа: «Что она сказала?» «Не знаю. Про муку что-то». «Про какую муку?» «Тише».

Лизбет закрыла глаза и сжала в кулаке шнурок с мешочком. Потом открыла. Барабан бил, не переставая, и голос Агнес не был слышен, но теперь она видела: в третьем ряду, у самого края, стоят двое. Дитрих и Магда. Они стояли порознь, не глядя друг на друга. А когда барабан на секунду замолк, Магда повернула голову и посмотрела на мельника. И мельник поднял глаза.

Это длилось мгновение. Потом оба отвернулись. Но Лизбет видела, и ей этого было достаточно.

Когда дым поднялся над столбом, тонкий и серый, закручиваясь в снегопаде, Лизбет опустилась на колени прямо на церковных ступенях. Вокруг никто не обратил на это внимания: на коленях стояли многие. Она молилась. Не так, как учили. Без слов. Просто держала в уме лицо женщины, которая сказала ей в камере: *«Не жалею меня, девочка. Я хочу, чтобы ты послушала»*. И слушала.

* * *

Рупрехт подошёл к Агнес со шнуром.

Она кивнула ему. Тихо сказала что-то, чего Ансельм не расслышал: кажется, поблагодарила. Мастер на секунду замер, и большие руки его дрогнули. Потом он отвёл взгляд и положил шнур ей на плечи.

Но перед тем, как он затянул его, Агнес повернула голову. Не к толпе и не к священнику. К Готтфриду, стоявшему у подножия помоста, в трёх шагах от Ансельма.

— Господин судья.

Он поднял глаза.

— Вы искали виноватого всю жизнь, — сказала она. Так тихо, что Ансельм понял: слова адресованы только одному человеку, а он слышит их лишь потому, что стоит рядом. — Нашли меня. Это было легко. Но всё, что вы искали, не здесь.

Готтфрид не ответил. Лицо его осталось прежним: спокойным, внимательным, почти доброжелательным.

— Сегодня ночью, — сказала Агнес, — к вам придёт она. И скажет то, что говорят всем нам, когда мы наконец готовы слушать.

Что-то мелькнуло в глазах судьи. Не страх. Что-то более неопределённое, похожее на вспышку света в закрытой комнате.

— О ком вы говорите? — спросил он.

— Вы знаете.

Она повернулась, снова подняла голову. Посмотрела на небо, откуда сыпался снег, и губы её шевельнулись, будто она

считала. Потом она кивнула Рупрехту.

Ансельм не смотрел на то, что было потом.

Он смотрел на лист бумаги на колене, на дрожащий кончик пера, на собственную руку, которая, вопреки всему, писала ровно: *«Двенадцатый день ноября... приговор приведён в исполнение...»* Он писал, и слышал, как за спиной ропщет и вздыхает толпа, как трещит огонь, как ветер швыряет пригоршню искр и снега вместе. Писал, пока не услышал, как кто-то на площади, совсем рядом, тихо, отчётливо сказал:

— Господи, помилуй.

Это была Магда Гросс. Она стояла, закрыв лицо ладонями, и снег таял у неё на плечах.

Ансельм поставил точку. Достал из кармана печать. Обмакнул в чернила, прижал к бумаге под последней строкой. Железо холодило пальцы. Оттиск лёг ровно.

Потом он положил печать обратно, застегнул папку и пошёл через площадь, не оглядываясь, сквозь расступавшуюся толпу, которая смотрела на него по-новому. Он был писарём. Теперь он стал помощником судьи. И разницу уже видели все.

* * *

За ратушей, в узком проходе между стеной и сараем, где хранили дрова, он нашёл Ханса.

Парень стоял на коленях, упершись ладонью в кирпич. Его вырвало в снег, он вытер рот рукавом и попытался встать, но ноги не слушались. Увидев Ансельма, он дёрнул-

ся, хотел вытянуться по стойке, и не смог.

— Сидите, — сказал Ансельм.

Он достал платок, протянул. Ханс взял, не глядя, и уткнулся в него лицом. Плечи затряслись. Ансельм стоял рядом, не зная, что говорить. Он был хорош в протоколах, не в утешении.

— Она меня видела, — выдавил Ханс. — Когда её вели. Она посмотрела прямо. Я думал, она... а она кивнула. Как будто...

Он замолчал.

— Как будто что? — спросил Ансельм.

— Как будто ей было жаль *меня*.

Ансельм ничего не ответил. Он положил руку парню на плечо, на секунду, и убрал. Потом развернулся и пошёл обратно к площади. За его спиной Ханс что-то тихо бормотал: может быть, молитву, а может быть, просто её имя.

* * *

Дома он ничего не ел.

Лизбет сидела в своей комнате наверху. Он слышал через потолок её шаги: она ходила взад-вперёд, как ходят люди, которые не могут остановиться. Он не поднялся к ней. Не смог. Сел у очага, положил руки на колени, и так просидел до вечера, пока не стемнело.

Вечером она спустилась. Молча поставила перед ним миску, села напротив. Они ели, не говоря ни слова. Только когда он отодвинул пустую миску, она сказала:

— Она успела сказать про муку.

Он посмотрел на неё.

— Ты была там.

— Была.

— Ты обещала молиться дома.

— Я и молилась, — сказала Лизбет. — Там.

Он не стал возражать. Это был не тот вечер, чтобы отчитывать.

— Барабан заглушил, — продолжила она тихо.

— Да.

— Но Дитрих слышал. И Магда. Они посмотрели друг на друга, папа. Я видела. И другие, рядом со мной. Кто-нибудь слышал.

— Кто-нибудь услышал, — повторил он.

— Значит, не всё пропало.

Она сказала это так, словно пыталась убедить себя. Ансельм хотел ответить, но не нашёл слов. Вместо этого потянулся и накрыл её руку своей. Они сидели так долго, пока свеча не догорела.

* * *

Утром его вызвали в ратушу рано.

Он шёл по улице, где ещё лежал нетронутый снег, и думал, что вчерашний день разделил жизнь на «до» и «после», и что дальше будет только «после». Поднялся по лестнице. Свернул в коридор, ведущий к кабинету судьи. Остановился. Дверь была приоткрыта.

Готтфрид сидел за столом. Он был одет так же, как вчера. Ансельм заметил это сразу, потому что знал: судья никогда не надевает одно и то же два дня подряд. Лицо было серым, под глазами залегли тени. Перед ним лежал лист бумаги, на котором не было ни слова.

А на краю стола, рядом с чернильницей, лежало кольцо.

Тонкое, золотое. То самое, которое Ансельм видел на его руке в каждом допросе, в каждой бумаге, в каждом жесте. Он никогда не видел, чтобы судья его снимал.

— Садитесь, Herr Vreisen, — сказал Готтфрид. Голос был ровный, но в нём появилась странная, незнакомая хрипотца, будто он много говорил ночью.

Ансельм сел.

Судья молчал. Долго. Смотрел на пустой лист, на кольцо, потом на окно, за которым светлело небо над крышами.

— Вы спали? — спросил он наконец.

— Немного.

— Вы слышали что-нибудь ночью? — Он сказал это спокойно, как спрашивают о погоде. — Какие-нибудь звуки. Шаги. Голоса.

— Нет, господин судья.

— Нет, — повторил Готтфрид. — Разумеется, нет.

Он взял кольцо. Повертел в пальцах. На секунду показалось, что он его наденет. Вместо этого он положил его в карман камзола, аккуратно застегнул пуговицу.

— У нас сегодня много дел, — сказал он. — Доносы из

пригородных деревень. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели первыми. Отклоните всё, что сочтёте нужным.

— Всё, что сочту нужным?

— Да. — Он поднял на Ансельма глаза. Они были красные, но сухие, и в них было что-то новое, чего Ансельм не мог назвать. Не сомнение. Скорее то, что остаётся после сомнения, когда оно уже прошло. — Я полагаю, вам это удастся лучше, чем мне.

Ансельм взял стопку. Перебрал листы. Поднял взгляд:

— Вы спали, господин судья?

— Нет.

— Почему?

Готтфрид долго молчал. Потом улыбнулся. Улыбка была короткой, усталой, не похожей на прежние.

— Потому что ко мне приходили, — сказал он. — И сказали то, что она обещала. Больше я вам ничего не скажу, Herr Vreisen. Это не относится к делу.

Он склонился над пустым листом и начал писать.

А Ансельм сидел, держа в руках чужие доносы, и слушал, как снаружи, в коридоре, кто-то спокойно, по-хозяйски, проходил мимо двери. Шаги были лёгкие. Почти неслышные. И ему вдруг подумалось, что в этом городе, наверное, больше не осталось места, где можно было бы быть уверенным.

Глава 7. Груз

Франкония, ноябрь 1648 года

Мир пришёл в город в виде гонца с красным лицом и мокрым плащом.

Он въехал через северные ворота в полдень, спешился у ратуши и стоял посреди площади, ловя ртом воздух, пока вокруг не собралась толпа. Потом развернул грамоту и прочитал вслух. Тридцать лет войны закончились подписью в Мюнстере, три недели назад. Новость ползла до Франконии по размытым дорогам, и когда наконец дошла, никто сначала не поверил.

Потом зазвонили колокола. Все сразу, со всех башен, в одном нестройном хоре, от которого с крыш поднялись грачи. Женщины плакали на крыльцах. Мужчины молча снимали шапки. Старики, пережившие три осады и две чумы, стояли на площади, растерянно улыбаясь, как люди, которым вдруг сказали, что болезнь прошла, а они уже забыли, как без неё жить.

Ансельм слушал колокола из окна второго этажа ратуши. Ему было шестьдесят шесть.

* * *

Он стал судьёй в тридцать первом, когда шведы ещё стояли на Майне, а город кормился картошкой и слухами. Готтфрид к тому времени давно уехал.

Это случилось поздней зимой двадцать девятого. Судья не объявил о решении, не попрощался. Просто однажды утром Ансельм пришёл в ратушу и нашёл на своём столе ключ от архива и связку листов, перехваченных чёрной лентой. Реестр. В колонке «Vreisen» было одиннадцать записей: все его подмены, все «разы». Двенадцатая стояла в самом конце, другим почерком, более размашистым и усталым, чем прежний.

«Достаточно».

Больше ничего. Ни подписи, ни даты. Готтфрид ушёл, и куда, никто толком не знал. Одни говорили, что в монастырь под Вюрцбургом. Другие, что к шведам на службу. Третьи, что просто умер на дороге, как умирают в таких дорогах многие. Ансельм не искал. Он положил реестр в сундук и запер, и больше к нему не притрагивался.

После той пятницы дети в городе перестали умирать. Город решил, что это костёр: ведьма сожжена, порча снята. Ансельм не разубеждал никого, потому что знал, что правда не принесёт ничего, кроме новых костров. Знала правду только Лизбет. Той зимой она промыла зерно в семи домах, потом в двадцати, потом в сорока, и о ней никто не говорил, кроме тех, кого она спасла.

Он был судьёй семнадцать лет. Вёл себя тихо, аккуратно, без блеска. Однажды вечером, в сорок пятом, подсчитал в уме и с удивлением понял, что за эти годы отклонил триста сорок семь доносов. Заверил девятнадцать приговоров. Де-

вятнадцать раз опускал печать на чужую жизнь и каждый раз помнил чёрные весы на белом листе.

Он так и не смог решить, много это или мало.

* * *

Молодой человек пришёл к нему в середине дня.

Ансельм заметил его не сразу: тот стоял в дверях кабинета, держа шляпу в руках, и ждал, пока судья закончит читать письмо. Лет двадцати восьми, худой, светловолосый, с аккуратно подстриженной бородкой и внимательными серыми глазами. На нём был дорожный плащ, заляпанный грязью до колен.

— Герр Врейзен? — спросил он, когда Ансельм поднял голову. — Простите, что беспокою. Меня зовут Якоб Ренн. Я нотариус из Нюрнберга.

— Проходите, — сказал Ансельм. — Садитесь.

Ренн сел, осторожно, словно не доверял стулу. Положил шляпу на колени.

— Я слышал о вас, — начал он. — В Нюрнберге говорят, что вы один из немногих судей во Франконии, кто вёл дела о колдовстве без... — Он запнулся. — Без лишнего.

— Это сильно сказано.

— Я имел в виду то, что вы, кажется, часто отклоняли обвинения.

Ансельм чуть усмехнулся.

— Вы пришли по делу или из любопытства?

— Из необходимости. — Ренн замялся, потом заговорил

быстро, как человек, отрепетировавший речь. — Я подписал контракт. В Московском царстве набирают иностранцев на службу: лекарей, офицеров, толмачей, писарей. Обещают жалованье в три раза выше здешнего. Я еду через Любек и Новгород. Должность моя называется «толмач и писарь» при Посольском приказе: переводить бумаги и вести записи по делам иноземцев. Но, насколько я понимаю, при воеводах в дальних городах тоже нужны люди, которые умеют читать по-нашему и писать по-ихнему. У них много споров, и никто не знает наших правил.

— Вы уезжаете в Россию.

— Да, герр Врейзен.

— Зачем вам я?

Молодой человек посмотрел на свои руки.

— Я читал протоколы по колдовским делам. Старые. Те, что мне давали в Нюрнбергском суде для изучения. Я хотел понять, как это делается. Там, куда я еду, говорят, такие дела тоже бывают. Сибирь, север, леса. Люди верят в колдунов, и, как мне говорили, дела о них там бывают не реже, чем у нас, а пытаются в них без жалости. Я хотел спросить у того, кто видел это изнутри: как этого не делать?

Ансельм молчал так долго, что Ренн начал ёрзать.

— Вы спросили, как этого не делать, — сказал наконец судья. — Большинство спрашивает, как это делать правильно.

— Правильно?

— Чтобы по закону. Чтобы никто не мог придрататься к процедуре. Чтобы бумага была безупречной. — Он чуть качнул головой. — Молодой человек, лучший ответ, который я знаю, прозвучит странно. Не пытайтесь делать это хорошо. Делайте это как можно медленнее.

* * *

Они проговорили до сумерек. Ансельм рассказывал не всё, не имена и не подробности. Про то, как важно записывать слово в слово и как легко потом эти слова поправить. Про то, как страх превращается в доносы, а доносы в дела. Про то, как выглядит человек, который искренне уверен, что поступает правильно, и почему с ним нельзя спорить на его языке.

Ренн слушал, делал пометки в небольшой книжке, задавал вопросы, которые судья ценил всё больше. Он не спрашивал «как это работает». Он спрашивал «что это делает с людьми».

Когда за окном стемнело, Ансельм зажёл свечу. Подошёл к столу, выдвинул нижний ящик. Достал оттуда свёрток, завёрнутый в полотно.

— Я хочу вам кое-что дать, — сказал он.

Ренн поднял голову. Ансельм развернул ткань.

Печать лежала на ладони, тяжёлая, потемневшая, с деревянной рукоятью, стёртой до тёмного блеска. Клеймо на конце: весы и короткая надпись. Свет свечи скользнул по железу, и оно на мгновение показалось почти живым.

— Это печать, которой заверяют приговоры, — сказал Ансельм. — В нашем суде она передаётся от писаря к писарю уже больше ста лет. Я получил её от старика, который получил её от другого. Я сам ею пользовался двадцать лет как писарь и ещё семнадцать как судья. Я хотел бы, чтобы она поехала с вами.

— Герр Врейзен, я не могу...

— Вы можете. Вы будете писать там, где нет ни судей, ни законов, к которым вы привыкли. Вам придётся что-то записывать и что-то заверять. — Он положил печать в руки молодого человека. — Мне сказали когда-то, что она ничего не решает. Что она только подтверждает. Что если помнить об этом, спать будет легче.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.